

Р
№9-1927

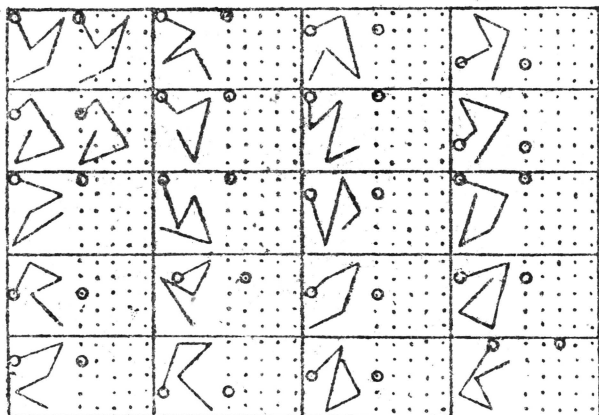
ПРИКЛЮЧЕНИИ



ИЗД-ВО
«П.П.СОЙКИН»
ЛЕНИНГРАД

НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

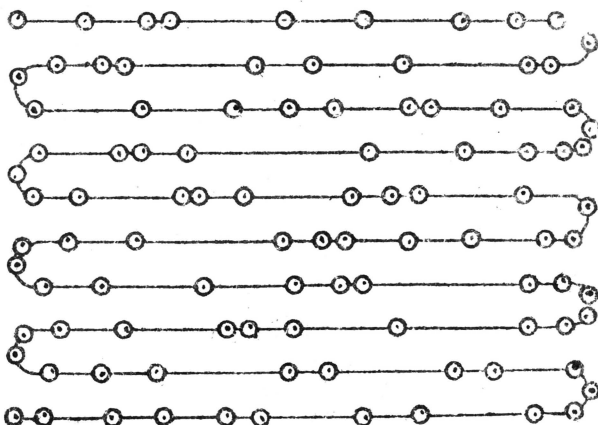
Задача № 57.



Хорош ли у вас глазомер? Хорошо ли вы замечаете длину и направление линий? Вот упражнение, которое вам поможет оценить свои способности в этом отношении. В каждой клетке слева нарисована фигура из четырех ломаных линий, а справа нанесено по 16 точек. По этим точкам скопируйте возможно точнее левые фигуры, как показано для примера в двух первых клетках. Сосчитайте, сколько правильных линий вам удастся провести таким способом за 3 минуты. 65 линий докажут, что у вас прекрасный глазомер.

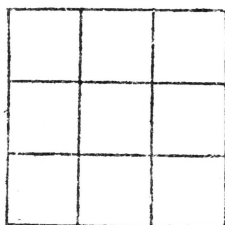
Задача № 58.

Твердая ли у вас рука? Хорошо ли попадает в цель? Вот сто кружков. Острым карандашом поставьте точки в эти кружки, не задевая их края. Сосчитайте, сколько верных ударов сделаете вы за 40 секунд. 70 правильных попаданий — отличный результат; 60 — недурной.



Задача № 59.

Вот простой квадрат в девять клеток. Но он будет не совсем простым, если его попытаться сложить из четырех кусочков одинаковой длины и одинакового вида.



При чем кусочки проволоки не должны пересекаться в углах. Для человека с хорошим соображением довольно будет 15 минут, чтобы решить эту задачу. См. стр. 63.

Задача № 60.

Сообразительны ли вы? Напишите самое маленькое числовое выражение посредством трех любых различных цифр от 1 до 9, пользуясь любыми алгебраическими знаками. Число не должно быть равно нулю, и не должно быть отрицательным. Если за 7 минут вы справитесь с задачей, значит вы недурно соображаете и разбираетесь в числах. См. стр. 63.

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО

ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА НА ГОД 5 РУБ.
С ДОСТ. И ПЕРЕС.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ - ЛЕНИНГРАД, СТРЕМЯННАЯ 8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «П. П. СОЙКИН»

СОДЕРЖАНИЕ

№ 9 — 1927 г.

| | | | |
|---|----|--|----|
| «СТАРЫЕ МЕРТВЕЦЫ», — премированный на Литературном Конкурсе «Мира Приключений» рассказ (№ 700), иллюстр. С. Э. Лузанова | 2 | «ЖИВОЙ ПЕСОК», — рассказ, получивший I премию на Американском Литературном Конкурсе | 71 |
| «ЗУБ ЗА ЗУБ», — премированный на Литературном Конкурсе рассказ (№ 802), иллюстр. И. А. Владимирова | 23 | «ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»: «Откровения науки и чудеса техники»: | |
| «ИЗ ДРУГОГО МИРА», — премированный на Литературном Конкурсе рассказ (№ 212), иллюстр. Н. М. Кочергина | 34 | «АЗИАТИДА», — научный очерк проф. А. Берже, с иллюстр. | 77 |
| «АКИМ И МИШКА», — премированный на Литературном Конкурсе рассказ (№ 473), иллюстр. И. А. Владимирова | 51 | «Корабль пустыни» | 79 |
| «АЛЬТРУИСТ», — посмертный рассказ П. П. Гнедича, иллюстр. Н. М. Кочергина | 64 | «НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» Задачи №№ 57, 58, 59 и 60 — 2-я стр. обложки. Решения задач № 59 и 60. | 63 |

Обложка работы художника С. Э. Лузанова.



РАССКАЗ,
ПРЕМИР-
ОВАННЫЙ НА
ЛИТЕРАТУР-
НОМ КОН-
КУРСЕ
«МИРА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
1927 ГОДА.

По регистрации

№ 700.

1.

В СОТЫЙ и ты-
сячный раз пы-
таясь восстановить
в памяти полную
картину событий, предшествовавших
катастрофе, Шевцов всякий раз натал-
кивался на неопределимое препятствие.
Едва начинал рассеиваться туман, на-
полнявший недра подсознания, и мысль,

Девиз:

Тот, кто верой обладает
В невозможнейшие вещи,
Невозможнейшие вещи
Совершать и сам способен.
Гейне.

Иллюстрации С. Э. ЛУЗАНОВА

оформляясь, приобретала ре-
альную выпуклость факта,—
неизбежно наступал момент,
когда достаточно было самого
ничтожного воздействия
стороны внешнего мира, что
все рушилось, превращалось в
первичный хаос, и с таким
трудом составленная цепь вос-
поминаний снова и снова ока-
зывалась разбитой на отдель-
ные звенья. В мучительных прова-
лах памяти исчезали отдельные куски
связной картины последних дней.

Боль в раненом боку при появлении
Батталы, приносившей ему пищу,—и

нить была уже порвана. Мозг его, с упорством, достойным лучшей участи, снова принимался за свою Сизифову работу.

В немногие минуты просветления ему, правда, удавалось связать воедино долгие промежутки времени, протекавшие с того периода, когда геологический отряд экспедиции, после трехлетней работы в устьях Северных рек, перекочевал к центру мало исследованной области. Они шли на соединение с главным отрядом большой экспедиции, одной из тех, которые ежегодно отправляет Академия Наук во все концы земного шара. Все чувствовали уже радость скорой встречи с друзьями и знакомыми, от которых отделили три долгих года, казавшихся вечностью...

Он тоже разделял нетерпение своих товарищей вплоть до того момента, когда... Что это было?..

Да!.. Эпизод с базальтом. Увидев серую группу выветрившихся колоннок, скромно приютившихся между пластов палеозоя, он не мог подавить тогда восклицания восторга. Его теория о происхождении напластований арктического пояса, с таким жаром оспариваемая его учеными коллегами, блестяще подтверждалась... Оставалось собрать дополнительные материалы—и лагерь непутистов будет разбит!..

Его, правда, мучили немного сомнения... Хотя убеждение Шевцова в правоте своей теории и было вполне искренним, но как истый ученый исследователь он не мог удовлетвориться случайной находкой вулканических пород среди осадочных пластов, и в нем брало верх стремление получить более веские доказательства.

Скептицизм ученого, заставляющий недоверчиво относиться к случайности, окончательно был побежден в нем, когда Тугува, проводник их отряда, этот удивительный продукт смешения человеческих рас, с преобладающими чертами славянского типа при ясно выраженном облике монгола, неожиданно разрешил его сомнения. На ужасном жаргоне, смешно оттягивая нижнюю губу, он сообщил, что во время одной из его охотничьих экскурсий ему пришлось видеть целые

скалы из—«белых столбов, более частых, чем деревья в самом густом лесу». Тогда в снежной пустыне погиб его отец, и сам Тугува, обмороженный и полумертвый, едва добрался до ближайших кочевий...

Это решило вопрос, и Шевцов спросил Тугуву, мог ли бы он проводить его туда? Ужас, отразившийся на лице Тугувы, заставил Шевцова невольно усомниться в правильности воззрений психологов, утверждающих, что у дикаря отсутствует способность сильных переживаний и эмоциональной памяти. Страх Тугувы начал рассеиваться, когда Шевцов напомнил ему, что теперь весна и снегов нет, и подкрепил свои слова более веским аргументом в виде пригоршни мелкой серебряной монеты и своего «Винчестера», достоинства которого Тугува знал слишком хорошо, чтобы торговаться.

Но Шевцову пришлось четыре раза опускать руку в мешок с серебром и потратить не мало красноречия, прежде чем Тугува сказал «да». Кроме того Шевцов должен был обещать десять бутылок спирта из запасов экспедиции, которые по возвращении должны поступить в полную собственность Тугувы.

Тугува боялся этого пути и старался приобрести для себя наибольшие выгоды. Шевцов слабо улыбнулся при этом воспоминании. И разве не прав был этот дикарь, для которого в конце концов «Винчестер» и много, много «огненной воды» оказались сильнее страха смерти? В какой жизни ему снова придется стрелять из «Винчестера» и пить «огненную воду»?.. А он очень любил ее. Шевцов был положительно убежден теперь, что бутылка спирта, пропавшая у препаратора на последней стоянке, была украдена Тугувой, который вообще имел мало общего с какими-либо нравственными предрассудками.

Тугува был настоящий дикарь—живой и вороватый, но он был хорошим проводником, и у Шевцова нет оснований думать о нем иначе.

Он вспомнил серьезного, молчаливого Рейхакайпена, и вечно веселого Голованенко, железное здоровье которого не могло убить трехлетнее

пребывание в убийственном климате. Он всегда смеялся над Шевцовым, пресерьезно уверяя всех, что тот за три года потерял три собственных веса. Взглянул Шевцов еще раз на свое отражение в полированной крышке часов: крепко обтянутые высохшей кожей скулы и фосфорический блеск глаз... Посмотрели бы они на него теперь!

Он вспомнил их всех, работавших в геологическом отряде, и каждая даже малейшая черточка в его воспоминаниях казалась ему бесконечно дорогой и важной...

— А этот Берлин! Он всегда отталкивал всех своей угрюмостью и вечным брюзжанием. И когда Шевцов объявил о своем намерении, он прямо, с обычной резкостью, заявил, что считает эту затею сумасбродством. — «Отбиваться от отряда в этой стране я считаю безумием и самоубийством», — но когда Шевцов все же остался тверд в своем решении, он один не покинул его.

— Да, Берлин был настоящий товарищ!..

Шевцов почувствовал вдруг соевый вкус во рту... Он удивился своей слабости, но не сделал даже попытки вытереть рот. У него, казалось, полностью атрофировались все волевые импульсы, и на внешние раздражения реагировало только одно сознание. Только его дух, эта непонятная эманация кусочка серой материи, заключенной в кости черепа, действительно принадлежал ему. Все остальное было бесконечно далеким и чуждым. Закрыв глаза, он подумал — не есть ли это его Сон Вечности?..

Сухое покашливание Нгурна вернуло его к действительности, и ряд знакомых картин снова проплыл в его сознании...

... Берлин тоже кашлял. Он вообще не отличался здоровьем и совсем простудился после невольного купанья, когда их лодка, увлекаемая быстрым течением, наскочила дном на подводный камень и опрокинулась, предварительно перевернувшись вокруг него. Долго прыгали тогда они втроем на леденящем ветру, стараясь согреться у пламени микроскопического

костра, тепла которого едва хватило бы нагреть стакан воды.

Глубина реки в некоторых местах не позволяла плыть, и тогда Берлин, содрогаясь от кашля и ругательств, поднимал с Тугувой на плечи лодку, сделанную из бересты и кедра, легкую и достаточно большую для троих. Шевцов нес ружье и припасы.

Роли иногда менялись: тогда лодку несли Тугува и Шевцов, а Берлину приходилось пыхтеть под тюками снаряжения. Их руки покрылись трещинами и мозолями от постоянной работы веслом, а кожа на всем теле нестерпимо зудела от укусов мириад комаров, которые перед закатом солнца тучами вылетали из своих убежищ и вились в воздухе, наполняя его своим гулом. Даже впоследствии Шевцов не мог без содрогания вспомнить этих гнусных концертов, задаваемых крылатыми палачами. Это был настоящий бич божий, от которого не могли спасти жалкие струйки бесцветного дыма тлеющего сфагноума.

Шевцов не помнит, сколько дней прошло прежде, чем их река, разделившись на множество рукавов, потерялась в расщелинах скал. Тогда Тугува должен был сознаться, что место ему незнакомо, и Шевцов первый, — это воспоминание еще теперь вызвало краску стыда на его щеках, — завел речь о возвращении. Если бы он знал, что вызовут его слова, он, конечно, попытался бы найти другой выход. Маленькая фигурка Берлина, на лице которого выделялись только глаза да оскальченные желтые зубы, соскочила со своего места, словно подброшенная электрическим током. Шевцов никогда не предполагал, что в этом худеньком теле мог поместиться такой запас ругательств. Маленький геодезист, в которого, казалось, вселился демон ярости, захлебываясь от душившего его кашля, выплевывал пачками страшнейшие кощунства и, когда кашель окончательно одолел его, присел на корточки, упираясь руками в землю. Белки его глаз пожелтели, и из уголков плотно сжатого рта показались две тонкие, как лезвие ножа, струйки крови, соединившиеся на подбородке.

Устыдившись своего малодушия, Шевцов в тот же день отправился с Тугувой на разведку. Река нашлась в четырех километрах от их стоянки, и после утомительного перехода все трое снова плыли вперед. В маленьком теле Берлина жил дух гиганта, и он опять, как ни в чем не бывало, сидел на своем месте у кормового весла и свободной рукой усиленно растирал посиневшие уши. Ночью и по утрам было очень холодно.

Характер местности менялся по мере того, как они подвигались к выпуклости громадной излучины, образуемой дельтой гор Томас-Хая. Густая тайга из ели и пихты исчезла, уступив место редким группам каменной березы и коврам полярных мхов. Ветви гор составляли водоразделы обширных речных пространств.

Много дней плыли они по неизвестной реке с многочисленными притоками и много раз наблюдали, как солнце, точно отрубленная голова, утопало в потоках крови заката, между стенами утесистых гор. Скалистые берега реки, прорезанные местами жилами гранитов и порфиоров, поднимались отвесной стеной вверх, и сжатое в каменных объятиях течение реки становилось все быстрее.

2.

Однажды это было около десяти часов утра,—Шевцов помнит, так как незадолго перед этим заводил свои

часы,—русло реки внезапно сузилось, сдавленное скалами, и в конце этого корридора берега расходились вновь, образуя чашу с отвесными краями, около полукилометра в диаметре. И когда лодка, проскользнув под сводами нависших скал, вышла на простор, перед ними открылось зрелище, показавшееся Шевцову волшебным сном, видением наркотика в царстве Грезы.

Отвесный берег миниатюрного озера, казавшегося колодцем, насколько хватал глаз, весь состоял из исполинских столбов жемчужно-белого базальта. Испещренные матовыми полосами трещин колонны то образовывали купы, то раскидывались веером, принимая самые причудливые очертания, и первые лучи восходящего солнца, как кровавые стрелы, дрожа и преломляясь, пронзали их прозрачную массу, переливаясь всеми цветами спектра...

Время от времени какая-нибудь из колонн разлеталась вдребезги со звоном разбиваемого стекла, и обломки ее исчезали в белой пене водоворота. Вода в озере кипела и бурлила...

Шевцов только что собирался высказать свои опасения, как сдавленный крик Тугувы заставил его обернуться назад.

Искаженное ужасом лицо Берлина мелькнуло перед его глазами, и желтая меховая шапка—все, что осталось



Перед ними открылось зрелище, показавшееся Шевцову волшебным сном...

от Тугувы, удалялась, увлекаемая водоворотом. В следующее мгновение нос лодки поднялся отвесно, но прежде, чем погрузиться в воду, Шевцов успел заметить, что огромная скала, составляющая часть противоположного берега, медленно и бесшумно сползала вниз.

На этом фазисе картина воспоминаний неизменно прерывалась, и сколько бы потом он ни напрягал свою память, не мог представить, каким образом он спасся и что стало с Тугувой и Берлином.

... Он лежал на сломанной колонне базальта, поверхности поперечного сечения которой было достаточно, чтобы поместить запряженную повозку. Влево от него целый ряд таких же шестигранных площадок тянулся с перерывами до самого верху.

— Но где же вода?.. Где Берлин?.. Шевцов растерянно оглядывался вокруг. Гигантский колодец был пуст, и только синие камни на дне его, блестящие точно покрытые лаком, свидетельствовали, что вода, действительно, была...

Он в недоумении поднял глаза вверх и только тогда заметил, что речка, вытекавшая из-под скалистых сводов, превратилась в настоящий водопад, с шумом и грохотом низвергавшийся на дно колодца. Вода стекала по слегка покато дну, исчезая в бездонной пропасти на том месте, где была скала; место среза сбоку было совершенно ровное, точно сделанное рукой и мечем титана...

Что это было?.. Действие ли подземных вод или что-либо другое вызвало этот катаклизм силы и размеров, неведомых науке,—Шевцову так и не удалось узнать. Растерянность его, впрочем, прошла скоро. Поднявшись на ноги, он с удовольствием убедился, что не получил даже царапины. У него была только большая опухоль на голове, около левого виска. Свое бессознательное состояние он впоследствии приписывал тяжелому веслу Берлина, которое заменяло им руль; оно, вероятно, задело его по голове в тот момент, когда лодка перевернулась.

... Пульс его лихорадочно работал. Он наклонился к краю площадки, и

вид бездны, поглотившей реку и его спутников, едва не вызвал у него головокружения. От прежнего уровня воды в колодце до его обнаженного дна было не менее трехсот футов. Ни одно живое существо, если оно не обладало крыльями птицы, не могло бы спуститься с этой отвесной стены.

Оставался верх... Шевцов скользнул взглядом по террасовидным уступам базальтовой стены, прикидывая расстояние до ближайшей площадки. Глазомер его был плох, или зрение обманулось грандиозными масштабами гигантской колоннады, но первый же шаг едва не стоил ему жизни. Много пережил он, повиснув на руках над пропастью...

Но ему не суждено было погибнуть там, где нашли могилу его спутники. Руки его представляли кровавые куски мяса с оборванными ногтями, когда он выбрался на поверхность.

Высокие берега реки в течение нескольких дней скрывали рельеф окружающей местности, и теперь Шевцов был в большом затруднении. Покрытые нетающим снегом «гольцы» вздымались справа и слева от него, а за ними виднелись ряды других, еще более высоких...

Тогда-то он и сделал ошибку, предположив, что складки гор тянулись в северо-восточном направлении, и, вместо того, чтобы вернуться к месту последней стоянки, углубился в самый центр совершенно неисследованной части гор Томас-Хая.

Подошвы его сапог исчезли на другой же день, и он был принужден обмотать ноги рукавами пиджака. Но это служило плохой защитой, и ноги скоро покрылись сплошными ранами. Солнце в течение дня нестерпимо жгло, раскаляя камни до такой степени, что они обжигали ноги. Его лицо и открытая шея покрылись пузырями ожогов, причинявших мучительную боль при малейшем движении. Перед заходом солнца было еще хуже... Комары и еще одна микроскопическая мошка, нападавшая на свои жертвы целыми legionами (специфическая особенность всех насекомых арктических и субарктических стран), набивались в глаза, нос, уши, напол-

няли рот, не давая дышать, и сколько бы Шевцов ни уничтожал их, количество их не убывало, а, казалось, увеличивалось...

От их укусов лицо его распухло до такой степени что один глаз закрылся совершенно; от другого же оставалась узенькая щелочка. Чтобы отогнать дымом крылатых мучителей, он, с помощью лупы, сохранившейся в жилетном кармане, пытался зажечь лишайники, покрывавшие скалы, но стекло дрожало в его руке, и лучи рассеивались, не давая нужной точки в фокусе. Ночью его одежды и скалы кругом покрывались толстым слоем инея.

Кроме того его мучил голод... К концу шестого дня ему удалось поймать большую рыбу, застрявшую в камнях. Он съел ее целиком, с кожей и внутренностями, но это не принесло ему облегчения. Поруганная природа не потерпела, и желудок в страшных мучениях извергнул обратно принятую пищу. Пытаясь заглушить мучительные спазмы, он впивался зубами в свою руку, но боль и выстулавшая кровь всякий раз отрезвляли его.

Ночью, стараясь укрыться от пронизывающего ветра, он мысленно переживал все обеды, на которых ему когда-либо приходилось присутствовать. С добросовестностью анатома, копающегося во внутренностях трупа, анализировал он вкусовой состав известных ему блюд...

Особенно часто ему представлялось мясо... Целые громадные туши ароматно пахнувшего жареного мяса!.. Из него тонкими струйками сочился горячий жир и, капая, застывал в виде маленьких белых звездочек!.. Он галлюцинировал на яву, с трясущимися руками и лихорадочным блеском глаз бросаясь на каждый предмет, напоминавший ему тот или другой род пищи. Ясное понимание окружающего оставало его...

Он совершенно не помнит, каким образом оказался он на вулканическом плато, пологие склоны которого были покрыты ольховым стлаником и лесом из каменной березы. Он двигался без всякой цели, не отдавая



Нос лодки поднялся отвесно в водовороте...

себе отчета в своих действиях. Спотыкаясь на каждом шагу, он падал и поднимался, чтобы через несколько шагов снова упасть... Это был сильнейший и могущественнейший из инстинктов — инстинкт жизни, не позволявший пассивно ожидать конца.

Ползком на животе, превратив в кровоточащее мясо свои колени, и без числа срываясь вниз, одолел он небольшую возвышенность с краю плато, оказавшуюся чем-то вроде барьера над кратером потухшего вулкана. Удивительную картину на дне его представляли мощные синевато-зеленые толщи льда, из которого местами поднимались струйки пара. Местами же горячий источник прорезал во льду канал.

Но не эта, в другое время без сомнения поразившая бы его картина всколыхнула остатки его угасавшего сознания. Взор его был прикован к противоположному склону плоского хребта, где узкие, канвообразные долины превращались в широкие

аллювиальные равнины с хорошо развитыми террасами, точно цепью жемчужин, прорезанными причудливыми изгибами рукавов реки. Как обетованная земля древних иудеев, этот внезапно открывшийся вид раздул искру его угасавшего духа. Там было его спасение.

Не отдавая отчета в причинах своей уверенности, он, как одержимый, бросился вперед, не разбирая дороги и увлекая за собою камни и осколки скал, лавиной катившиеся вниз. Широкая трещина приостановила на мгновение его головокружительную скачку; он почувствовал, что край трещины подается под ним и, сделав нечеловеческое усилие, гигантским прыжком перелетел на другую сторону. Ослабленные страшным усилием ноги изменили ему, и, не в силах преодолеть инерции, он покатился вниз, к обрыву. Когда зияющая бездна оказалась под ним, закрыл глаза в ожидании неведомого, теряя сознание в тот момент, когда тело его коснулось земли...

Ценою сломаной ноги и скверной раны в боку спас он тогда свою жизнь.—Шевцов грустно улыбнулся, взглянув на свою закутанную в меха ногу, которая видом напоминала толстый обрубок и мучительно ныла при малейшем движении.

3.

И ТОГДА пришла Баттала.

Нет, надо быть справедливым к Нгурну... Нгурну принадлежат первые минуты его сознания. Это Нгурн возвратил ему жизнь, уходящую из тела с жестокими пароксизмами лихорадки. Нгурн перебинтовал сломанную ногу и перевязкой раны предупредил неминуемое заражение крови. Рана с рваными краями имела вид неправильного треугольника и, начинаясь вблизи четвертого ребра, доходила до области живота. Трупный запах, распространившийся в хижине, и пораженные ткани, имевшие цвет осенних листьев, с достаточной ясностью указывали на начало гангренозного процесса. И тогда Нгурн, весь хирургический арсенал которого состоял из одного каменного ножа,

сделал ему операцию не хуже, чем это мог бы выполнить любой европейский хирург. Искусно удалив гниющие ткани с краев раны, он приложил к ней кусок рыбьего пузыря, намазанного какой-то ему одному известной мазью.

Облегчение наступило немедленно, и впервые реальные образы окружающего стали выделяться из сонма горячечных видений. Но это еще не было вполне выздоровлением, так как короткие минуты сознания перемежались длительными периодами бреда и беспамятства. И, если бы даже это было необходимо для спасения его жизни, он не мог бы сказать, сколько времени протекло между этими сознательными промежутками, прежде чем он осознал свое положение и познакомился с племенем, среди которого находился, племенем Нгурна и Батталы. Правда, он видел и других людей, они бесцеремонно осматривали его, ощупывая со всех сторон, точно какую-нибудь вещь, и при этом ожесточенно жестикулировали, знаками дополняя свою речь, отрывистые, лающие звуки, с трудом напоминавшие человеческий язык. Но они в конце концов уходили, а Баттала и Нгурн всегда оставались с ним.

Баттала приносила ему полусырое мясо, вываленное в золе очага, и он, давясь, жадно глотал его огромными кусками; оно казалось ему лучше всех яств, изобретенных изощренным вкусом гастронома. Он не мог вначале без отвращения глядеть на свернувшуюся оленью кровь, которую с особенным удовольствием пожирала Баттала, но впоследствии Шевцов стал настолько дикарем, что считал уже особым лакомством, если она была немного протухшей. Он жил чисто животной жизнью, отдаваясь одной еде, которой было более чем достаточно. Баттала принимала деятельное участие в его трапезах и, когда ему случалось давиться слишком большим куском, принималась весело хохотать, делая ужаснейшие гримасы, от которых ее рот растягивался почти до ушей, открывая два ряда зубов ровных и белых, но слишком крупных, чтобы быть красивыми.

Ее лицо? Шевцову никогда не приходилось видеть такого разнообразия в чертах одной физиономии. Косая постановка глаз, впрочем довольно больших, с несомненностью указывала на монгольское происхождение, что совершенно не гармонировало с ее носом, который не был ни широк, ни расплюснут, а имел вполне правильную форму, представляя ровную линию до самой переносицы, где сходились брови, пожалуй, слишком густые, чтобы служить украшением для лица. Довольно широкий рот, с толстыми, но не оттопыренными губами, переходил в подбородок, срезанный немного более, чем этого требовали общепринятые понятия о красоте. Но она вовсе не была отвратительной,— в этом Шевцов должен был сознаться, сравнивая ее с другими женщинами племени, и если бы отмыть толстый слой грязи и жира, покрывавших ее лицо, оно могло бы казаться даже приятным.

Баттала в течение дня не отходила от него ни на один шаг, оставляя только вечером, когда удалялась в деревню к своим. Он готов был примириться с ее постоянным присутствием, если бы она не давала ему всячески понять, что считает его своим, что он должен быть ее мужем, как только получит возможность ходить.

Это было уже слишком...

Баттала рассуждала, что раз она нашла его, он должен принадлежать ей, тем более, что для нее уже наступило время, когда она должна была выбрать себе мужа. Страх и отвращение,—если на язык психологической номенклатуры могло это быть переведено,—почувствовала она в первый раз при виде Шевцова, изуродованного страшным падением. Но женское любопытство победило в ней, когда он, ворочаясь в бреду, произнес несколько слов. Звук его голоса поразил ее и, бросив на землю лекарственные травы, которые собирала для Нгурна, она присела перед ним на корточки и, преодолевая свой страх, попыталась раскрыть его губы,— источник поразивших ее звуков. Если бы Шевцов мог подумать, что его



Шевцов гигантским прыжком перелетел на другую сторону.

голос так пригодится ему! Но, как бы то ни было, а только ему он обязан тем, что его кости не лежат под обрывом, куда он свалился, и где Баттала наткнулась на него. И теперь она вполне законно предъявляла свои права на него.

Положение Шевцова могло бы быть смешным, если бы оно не было так ужасно. За всю свою жизнь он ни разу не увлекался женщинами, даже самыми красивыми; ему для этого просто не хватало времени, поглощаемого его научными занятиями. Никогда ни одна женщина не производила на него впечатления, и вот теперь этот союз предлагала ему дикарка, которую он даже при самом снисходительном суждении не мог бы назвать красивой... Но его спасала болезнь и сломанная нога, и он решил до последней возможности сопротивляться брачным узам, которые с таким жаром предлагала ему Баттала.

Шевцов помещался в священной хижине вместе с Нгурном, которого он считал за шамана или вообще за человека, облеченного особой властью, судя по тому уважению, с которым относились к нему его соплеменники. В первых его воспоминаниях фигу

рирует Нгурн, казавшийся Шевцову обломком седой древности, выпавшим из архива Мироздания, воплощением архаизма, искаженным до гротеска, как те видения, что в дни горячки наполняли его мозг. И странно... даже впоследствии Шевцов не мог отрешиться от этого образа, созданного его большой фантазией. Нгурн и в самом деле был необычен, являясь уникалом среди остальных стариков племени. При его создании у природы должно быть не хватило материала, так как даже глаза у него были разные. Один глаз альбиноса — казался красным пятном между нависших век, другой же поражал своим ярко зеленым цветом. Когда Нгурн сидел, опустив свою голову на колени, — ее не могла сдерживать до смешного тонкая шея, — Шевцову казалось, что этот зеленый глаз светится подобно тому, как светятся в темноте глаза кошки.

Нгурн, казалось, не спал совершенно. Шевцов затруднился бы даже представить, что он мог спать. В долгие ночи, когда острые вспышки боли в нем прерывали нить сна, Шевцов через отверстие в занавеси из шкур видел Нгурна, неподвижно сидящего. Немигающие глаза его были устремлены на огонь священного очага.



— Твоя смерть будет лучшей из всех, — уверял Нгурн Шевцова

4

ЗА ДНИ болезни Шевцов успел постигнуть несложную грамматику и фонетические трудности их примитивного языка, и утомительные ночи бессонницы разнообразил беседами с Нгурном. Нгурн был деревенским жрецом и знахарем маленького племени, обитавшего в трех смежных селениях. Каждая деревушка имела своего начальника, но власть их была чисто фиктивной. Еще при жизни деда Нгурна авторитет шамана победил влияние вождей, власть которых имела корни в воинственном прошлом племени, и уже отец Нгурна, и сам Нгурн за спиной безгласного триумвирата мудро руководили делами маленькой федерации. Но, помимо трех селений живых, в ведении Нгурна находилось еще и четвертое — селение Мертвых. Туда уходили и там заканчивался жизненный путь всех живущих; там, в день чьей-либо смерти, все племя обедалось мясом и кровью убиваемых Нгурном оленей, количество которых зависело от того, какими делами озаменовал себя покойный при жизни. Не одно поколение приходящих в жизнь встретил уже Нгурн и многих проводил к месту их последнего упокоения.

Долгая жизнь сделала Нгурна философом. Он, казалось, олицетворял собой всю мудрость, всю примитивную ученость этого первобытного племени, и в беседах с ним Шевцов находил истинное наслаждение.

Нгурн любил рассуждать о великом, о свете и мраке, о жизни и смерти, о тайнах звезд, ибо Нгурн был предтечей человеческой мысли, устремленной к познанию тайн вселенной. Найдя в Шевцове благодарного слушателя и собеседника, Нгурн подолгу толковал с ним, с непоследовательностью дикаря постоянно перескакивая на различные темы. В послед-

нее время он несколько раз заводил с ним разговор о своей старости.

— Дни мои уже близки к концу, и рука дрожит, поражая сердце оленя, а среди племени нет достойных заменить меня. Ты достаточно мудр, и тебе бы я мог передать свое знание, но—Нгурн взглянул на Шевцова,— тебе уже недолго жить и ты умрешь скорее меня. Ты часто разговариваешь ночью один на своем языке, и часто просыпаешься, а когда человек не спит и торопится жить, это значит, что он собирается уйти в «Селение Мертвых».

И Нгурн прервал сам себя, пускаясь в обсуждение подробностей грандиозной гекатомбы, которой будет сопровождаться переселение Шевцова к Мертвым. Не два и не три дня будет пировать все племя на его могиле.

— Твоя смерть будет лучшей из всех, случившихся при мне.

Шевцов усмехнулся наивной хвастливости старика, но сделал это без всякого раздражения. Ему было все равно, что будет с ним. Первый период, когда организм его всеми силами цеплялся за уходящую жизнь, прошел, и теперь наступила реакция.

Это безразличное состояние продолжалось с ним до одного случая. Нтомо, молодой охотник, бывший претендентом на руку Батталы, неожиданно умер. День чьей-либо смерти был настоящим праздником для жителей всех трех деревень. И теперь Баттала пришла оживленная, с куском теплой оленьей печенки и незастывшей еще кровью на губах. Молодой Нтомо был хороший охотник, и более сотни оленей пало под жертвенным ножом Нгурна на алтаре «Старых». Шевцов встрепенулся. Он уже несколько раз слышал это слово, произносимое почтительным шопотом.

Но Баттала знала лишь, что знали другие. Ни один человек из племени не мог бы с достоверностью сказать, что представляли собой «Старые». Никто не мог безнаказанно переступить порог их жилища. Только один безумец,—это было очень давно и об этом говорила легенда,—осмелился нарушить их покой, и гнев «Старых»

поразил его: он был найден мертвым на пороге их хижины, в Селении Мертвых. «Старыми Мертвецами» называли их, ибо не было на протяжении многих поколений человека, который мог бы сказать, что видел их живыми. Дед и прадед Батталы и Нтомо, и все остальные, чей прах в Селении Мертвых, все они были живы, прежде чем ушли туда, а «Старые Мертвецы» были там всегда.

Любопытство Шевцова было возбуждено в сильнейшей степени.

Нгурн, к которому поспешил обратиться Шевцов, был сильно удивлен его вопросом и ответил неясным бормотанием, из которого Шевцов ничего не смог разобрать, а затем и совсем перестал отзывать, застыв в своей обычной позе, с подбородком, опущенным на колени. Шевцов усмехнулся:—«Нгурн не хотел говорить о «Старых». Мысль о «Старых» не давала ему покоя. Просыпаясь ночами, он неизменно возвращался к ней. Баттала говорила—«Старые Мертвецы» были всегда,—но ведь отец Нгурна думал иначе. Этот умерший мудрец был большой скептик, со многими странностями, одной из которых было обыкновение не соглашаться с общепризнанными истинами.

— Как может быть старым не имевшее молодости? Когда было, что мрак наступал прежде, чем солнце кончало свой путь?—так рассуждал он, и Шевцов не мог не согласиться с логикой его доказательств. Он был убежден в человеческой природе «Старых», но его интересовал вопрос,—кто были эти люди, сделавшиеся божеством дикарей?..

Всякое желание в его больном мозгу принимало чудовищные размеры... Ему стало казаться, что разгадка тайны «Старых» несла какие-то неведомые откровения бесконечной важности, от которых зависела не только его судьба, но и многое другое... Настал день, когда он больше не мог бороться с охватившим все его существо желанием и решительно приступил к Нгурну. Нгурн протестовал. Никто не мог видеть «Старых». Шевцов настаивал. Он грозил

и умолял, предлагая жизнь за один взгляд на «Старых», за одну попытку приподнять покров мучившей его тайны. И, к его удивлению, Нгурн сдался, утешая себя мыслью:—«если что и случится, то только с ним, а он все равно скоро пойдет к Мертвым, чтобы уже не возвращаться».

Рослые молодцы, братья Батталы, в смуглых физиономиях которых Шевцову всегда представлялось какое-то неуловимое сходство с покойным Тугувой, подняли на плечи носилки с его бесомощным телом.

Солнце, отражаясь от белых плит известняка, вызывало невыносимую боль в глазах, и Шевцов с удовольствием закрыл их. Покачиваясь на носилках, он успел заметить, что тропинка, змеей извивавшаяся среди скал и леса, была расчищена и видимо содержалась в порядке. Он открыл глаза, когда носильщики стали взбираться на круглый холм, ровная поверхность которого, напоминая видом дно опрокинутого котла, была покрыта трещинами и блестела, как стекло. Все вокруг носило следы вулканической работы. Высокая скала, в виде отвесной стены, возвышавшаяся влево от дороги, поразила его взгляд геолога своим удивительным розовым цветом, местами переходившим в малиновый и даже буровато-красный оттенок.

Когда тропинка подошла к скале, Шевцов, приподнимаясь на носилках, с изумлением спрашивал себя, не

спит ли он. Гигантская скала целиком состояла из чистого марганцевого шпата превосходного розового цвета. Ни о чем подобном ему еще не приходилось слышать. Тропинка неожиданно нырнула в узком проходе между скал, и когда носилки вышли из него, Шевцов увидел наконец Селение Мертвых. Пирамидальные кучки белых камней, заменявшие надгроб-



Рослые молодцы, братья Батталы, подняли на плечи носилки со Шевцовым.

ные памятники, были расположены концентрическими окружностями. Белых холмиков было такое множество, что Шевцов вынужден был отказаться от попытки сосчитать их. Не одно и не два поколения маленького племени потребовались, чтобы наполнить это громадное кладбище. Носильщики остановились, не доходя сотни шагов

до центра последней окружности; то, что находилось там, не мог видеть смертный, и, опустив носилки, они распростерлись на земле.

5.

ОПИРАЯСЬ на палку, Шевцов с усилием сделал несколько шагов, первых за долгие недели болезни. Хижина «Старых», стоявшая на небольшом возвышении, была мала и низка, и бревна, из которых были сделаны ее стены, не стояли, как это было во всех деревенских жилищах, а лежали горизонтально, образуя правильный сруб, хотя и покосившийся от ветхости.



Отдаваясь охватившему его волнению, с сильно бьющимся сердцем, толкнул он приставленную дверь. В хижине был мрак, и только присмотревшись, Шевцов различил две неподвижные, закутанные в меха фигуры, одна из которых, прислоненная к стене, сидела за грубым подобием стола, а другая, гигантских размеров, лежала на нем. Громадный череп с массивной нижней челюстью и широким плоским затылком, обрамленным остатками жестких, рыжих волос, не мог принадлежать туземцу,—

Шевцов готов был поклясться в этом. Стараясь умерить бешеные удары сердца, Шевцов прислонился к стене и неловким движением опрокинул полку, с которой что-то упало на фигуру, распростертую на столе. Он поднял это, оказавшееся позеленевшим восьмиконечным медным крестом, который, падая, сбил истлевшие меха, обнажив надетую на скелете рубаху из толстых железных колец. Продолжая свои поиски, он нашел, наконец,

что искал. Документ — полуистлевший свиток бурого от времени пергамента — был заключен в футляр из березовой коры. С трудом разбирая писанные вязью, с хитроумными завитушками буквы славянского письма, Шевцов из сохранившихся строчек текста узнал, что —

«Лета от Рождества Христова тысяча шестьсот тридцать четвертое, Якуцкого сотника Петра Бекетова есаул Онисим Суровцев с товарищи — Василий Терка и Михайло Пензин» — после того,

как был выстроен Якутский острог, отправились, — «сыскивать новые землицы и тамошних людшек покорять и подводить под Высокую Государеву руку и облагать их ясаком в его Государя и Великого Князя казну». — Документ был скреплен восковой печатью с отиском большого пальца на ней.

У Шевцова промелькнули в голове обрывки знакомой ему истории завоевания края.

В начале семнадцатого столетия с Запада двинулись первые отряды мангазейских казаков — этих конквистадоров Севера. По диким, неисследованным рекам, перетаскивая через пороги свои маленькие лодки и руководясь лишь всемогущим «авось» да рассказами туземцев, начали они продвижение вглубь неизвестной страны. Как снег на голову, появля-

лись они среди перепуганных дикарей, импонируя своим невиданным мужеством и невероятной храбростью. С свирепой жестокостью подавляли они малейшие попытки туземцев сбросить навязанное иго. Оставив двух—трех человек в новых построенных крепостях, этих передовых аванпостов цивилизации, среди сотен и тысяч враждебных дикарей, они неутомимо устремлялись вперед. Никакие лишения не могли сломить энергии этого беспокойного народа. Предупрежденные слухами о появлении неведомых «белых людей», которые не боялись стрел и камней и убивали громом и молнией так быстро, как только может быть быстра смерть, дикари готовились к отчаянной защите. В среде самих победителей часто возникали распри, и тогда эти суровые люди с обычной жестокостью кончали дело. Острый нож и быстрый свинец—единственные законы Севера, решали тогда спор. Кровью своей и чужой был покрыт каждый шаг их победного пути.

Менее, чем в одно столетие, кучками храбрецов была пройдена и покорена огромная территория от Енисея до Дежнева, последнего мыса на Востоке, где в течение короткого лета не заходит солнце; территория больше той, на которой разыгралась предшествующая история культурного мира...

Шевцов вспоминал подробности этой грандиозной эпопеи, участники которой были перед ним. Ему бросилось в глаза старинное ружье, большое и тяжелое. При взгляде на его развороченный взрывом ствол, Шевцов вспомнил легенду о гневе «Старых» и пожалел беднягу, не имевшего опыта в обращении с огнестрельным оружием.

Шевцов был слишком взволнован всем виденным, чтобы заметить огонек наивного любопытства в глазах встретившего его Нгурна. Этот вечер и весь следующий день он провел под большим деревом, вблизи Священной Хижины. Тропинка от него шла в деревню, и Шевцов прислушивался к доносившимся оттуда

звукам. Женщина, вышедшая из Священной Хижины с полным горшком раскаленных углей, при виде его окаменела, словно пораженная столбняком, а затем, бросив угли, распростерлась перед ним.

— Очевидно, у кого-нибудь погас огонь—вслух сказал он, размышляя в то же время о странном поведении женщины.

В каждой хижине был свой очаг, но если он угасал, возобновлять его было можно только от Священного Огня. Уходящие на охоту брали угли в глиняном горшке. Но добывание огня им было, очевидно, знакомо, в чем Шевцова убедили маленькие коричневые кремешки, найденные им в кожаном мешке, запрятанном за стропилами над Священным Очагом. Рассматривая их, он нашел, что некоторые носили следы удара о металл. Но ведь он не видел здесь ни одного куска металла!! Внезапная догадка осенила его. Он заковылял к хижине и, вытряхнув на пол содержимое мешка, едва не закричал от радости. Настоящее огниво и куски полуистлевшего трута могли принадлежать только «Старым», ни в одной хижине не было ничего подобного!.. Но тогда... и перед ним встал образ Батталы, черты лица которой всегда смущали его.

Значит, «Старые Мертвецы» жили здесь!! Вот почему братья Батталы и другие юноши в деревне так напоминали ему погибшего Тугуву, матью которого была ламутка, а отцом—одичавший нельканский казак. Вот почему такие лица появились среди этого племени.

Перетряхивая архивы своей памяти, он старался подыскать сходное этнографическое описание, но его попытки разбивались по первое же препятствие. Все известные ему племена туземцев были знакомы с употреблением железа, здесь же он видел орудия, сделанные исключительно из костей и камня. Даже жертвенный нож Нгурна был сделан из искусно обточенного осколка обсидиана. Одежда их—нечто в роде легкого плаща из великолепно выделанной оленьей шкуры и застегивающегося



Шевцов с изумлением читал бурый
пергаментный свиток...

спереди, нисколько не напоминала безобразных мешкообразных одеяний, виденных им у племен гиперборейской расы, населяющих крайний северо-восток Сибири. Он считал себя близким к истине, признавая их потомками абorigенов края, в незапамятные времена вытесненных якутами, пришедшими с берегов Байкала и далекого Енисея. Защищенные бесконечными снежными равнинами и непроходимыми хребтами, они

здесь, в самом центре неприступных гор, избегли вымирания—общей участи родственных им племен, сохранив в неприкосновенности свои обычаи и уклад жизни. Совершенно изолированные от общения с другими племенами и обладая огромными стадами оленей, обеспечивающих им средства существования, они не

подверглись изменяющему влиянию прогресса, или регресса и остановились в своем развитии, сохраняя сложившуюся у них особую физиономию первобытного полуоседлого-полухотничьего племени.

Такими они были, вероятно, и тогда, когда появились среди них те, чьи останки лежат в хижине Мертвых, представители мощной расы титанов. Им первым суждено было сломить застывшие формы сознания и наложить столь мощный отпечаток на физический тип этого племени. Память о пришельцах уничтожила первоначальные религиозные воззрения дикарей, создавших своеобразный «культ мертвых» и окруживших их прах ореолом божественного почитания.

Шевцов вспомнил, что еще не дал себе труда осмотреть, как следует, деревенские жилища и был очень поражен тем, что хозяева первой же хижины, куда он зашел, в страхе распростерлись на земле. Ему вспомнилась эта перемена в обращении с ним за последнее время, и он решил немедленно потребовать объяснений у Батталы.

Его не мало насмешило то, что ему пришлось узнать. Нгурн провозгласил его «братом» «Старых», после благополучного возвращения Шевцова из его экскурсии в Селение Мертвых. Шевцов усмехнулся, подумав: «хитрый старик, чтобы увеличить свое влияние, объявил его божеством. Кто бы мог подумать, что ему придется принимать божеские почести?» — но с этого дня стал с должным достоинством принимать оказываемые ему знаки почитания.

Он не встретил на этот раз ни малейшего сопротивления со стороны Нгурна, когда решил вторично посетить хижину «Старых». Ему в последнее время становилось все хуже, и он чувствовал, что скоро сбудутся слова Нгурна, и жизнь оставит его измученное тело.

6.

С НЕВОЛЬНЫМ уважением касаясь рукой лежащего на столе черепа, покрытого остатками кожи и клочками волос, он старался проникнуть

в тайну его, заключенную под широким, низким лбом с характерной выпуклостью посредине, — тайну, глядевшую на него темными впадинами мертвых глаз. Он удивлялся жизненной энергии этой беспокойной расы, удивлялся тому, что заставляло всех этих Стадухиных и Дежневых, или, наконец, этого Василия Терку, чей прах может быть лежит перед ним, — бросать насиженные места, предпочитать жизнь, полную лишений и опасностей... Царская награда!.. Но какой царь обладал сокровищами, которые могли служить наградой за смерть?..

А какая сила заставила его самого, несмотря на молодость уже признанного ученого, бросить удобства культурной жизни и сознательно закабалить себя на целых пять лет лишений в этой забытой богом и людьми стране?.. Романтика?.. Страсть к приключениям?.. Ха!.. Ха! Это будет его последним приключением! И, оглянувшись еще раз на закутанные в меха скелеты, прошептал:

— Два! Нет скоро будет три, по меньшей мере! — Жизнь угасала так медленно, что страха перед смертью не чувствовалось, она казалась естественным концом и завершением событий последнего времени. Инстинкт жизни начал незаметно сменяться инстинктом смерти.

Он просиживал целые ночи перед священным очагом и, наблюдая умирающий полет искр, часто размышлял — каким законам повинуются человеческая жизнь, — эта случайная пылинка на троне Космоса. Он был знаком немного с учением о переселении душ и «науками», известными под общим названием оккультизма, и в эти бессонные ночи все чаще стал предоставлять волю полетам своей болезненной фантазии. Эти теории, краеугольным камнем которых неизменно являлось признание астральной проекции всех живших и живущих персонажей, своей беспочвенностью вызывавшие у него раньше смех, свойственный его здоровой натуре и аналитическому складу ума, возымели непобедимую силу в его больном мозгу.

В часы и минуты, когда дух его витал в дебрях непознанного, он постоянно возвращался к своей любимой теме о внемчувственном духовном сродстве всего существующего, не ограниченном во времени и пространстве, и недоступном никакому человеческому анализу, могущественном и великом, как сама вечность.

Рожденная в пыли межзвездных пространств, его мысль неизменно возвращалась к двум конечным пунктам,—его «я» и «Старым», титанические дела которых заставляли его благоговеть перед их прахом. Они были достойны почитания. И он продолжал их дела. При этой мысли Шевцов чувствовал гордость, какой не бывало у него раньше, когда он просматривал в журналах услужливые статьи профессиональных критиков, называвших его восходящей звездой ученого мира.

И когда, во время вечерних собраний, Нгурн, по обыкновению сводил разговор на его смерть, Шевцов даже оживлялся, самым серьезным образом пускаясь в обсуждение деталей грандиозного пиршества, на котором уже ему не придется присутствовать. В самом деле... Он—Брат «Старых», и никто не должен говорить, что ушел голодным с его похорон!..

Рассуждая таким образом, он забывал Батталу, которая все еще не хотела оставлять своих матримониальных видов на него. Правда, Нгурн и все остальные утверждают, что он Брат «Старых» и, следовательно, бог,—но разве не его она нашла умирающим, неспособным двинуть ни одним членом?.. Разве не благодаря ее заботам жизнь снова возвратилась к нему?..

Баттале не было дела до воззрений Нгурна и ее соплеменников, она была прежде всего женщиной, и за божественной оболочкой Шевцова инстинктивно угадывала его другую сущность. Баттала сильно надоедала Шевцову, но он не находил в себе достаточно мужества, чтобы отогнать ее, и, смотря в ее глаза, когда она по своему обыкновению сидела на полу, обхватив его здоровую ногу, он

видел в них неугасавшее желание. Нгурн, провозгласив его божеством, сделал ему неожиданную услугу, оградив его от более серьезных намерений Батталы.

Зима прошла и наступило лето, а жизнь все еще медлила оставлять его. Таинственные силы природы, заложенные в живом организме, упорно боролись, отстаивая его целостность и гармонию от разрушающих шагов смерти. Когда солнце все дольше и дольше стало останавливаться в небе, Шевцов с удивлением почувствовал, что силы снова возвращаются к нему. Струя жизни вновь начала бить в его жилах. С каждым днем ощущал он, как новые и новые живительные соки вливались в его изможденное долгой болезнью тело. Но он так свыкся уже с мыслью о смерти, что эта перемена даже не вызвала в нем радости.

Настал день, когда Шевцов смог встать со своего ложа, на котором провел всю зиму. Решительно он поправлялся. Это видели все, и Нгурн, глядя, как все увереннее ноги Шевцова поднимали его исхудавшее тело, с грустью думал, что он, пожалуй, совсем не умрет. Это был один из тех известных медицине случаев, когда течение тяжелой, затяжной болезни внезапно прерывалось последним пароксизмом жизни, за которым неизбежно наступал конец. Жизнь вспыхивала в последний раз, как свеча перед тем, как погаснуть.

Но он не знал этого, не знала и Баттала, глаза которой с новой надеждой останавливались на фигуре Шевцова во время их совместных прогулок.

По мере того, как восстанавливались силы Шевцова, его все чаще стали посещать какие-то туманные видения и неясные желания, постальгическая сущность которых ему однако оставалась непонятной. И в такие дни Баттала, как преданная собака, не сводившая внимательного взора с его глаз, видела в них какое-то новое, непонятное ей выражение.

И один раз, в начале осени, когда бледно-желтый кружок солнца все ниже спускался над каемкой дальних

гор, Шевцов, во время одной из прогулок, безотчетно повинуясь какому-то зову, казалось исходящему из недр его сознания, вместо того, чтобы повернуть обратно, как это он делал обычно, быстро свернул в сторону, углубившись в чащу. Он шел с закрытыми глазами, не разбирая дороги и спотыкаясь на каждом шагу, и когда окончился внезапный прилив сил, задыхаясь, беспомощно, опустился на камень. Он был на расчищенной тропинке у красной скалы, а там, внизу, растилась Селение Мертвых. Его как-то бессознательно влекло к полуразрушенной хижине, мертвые обитатели которой были единственными представителями его расы.

Совершенно разбитый возвращался он обратно, не замечая фигуры охотника, в почтительном отдалении следовавшего за ним. На другой день он опять повторил свое паломничество к «Старым», видеть которых стало для него необходимостью.

Отрываясь от созерцания безмолвных фигур, он направился к выходу, но споткнулся и упал, больно ударившись о какой-то предмет, лежавший под истлевшими шкурами в углу хижины. Облака пыли поднялись, когда он стал разворачивать их, и неожиданно для себя Шевцов вздрогнул, когда пальцы его ощутили шероховатую поверхность и острый холодок металла. Самородок золота, если только он мог быть назван им, так как являлся только частью другого самородка, от которого был отрублен топором, покрытый кусками проржавевшего кварца, имел очень неказистый вид и весил не менее ста фунтов, Шевцов был в этом уверен, так как, несмотря на все старания, не мог приподнять его. Он выпрямился и впервые взгляд, брошенный им на «Старых», не выражал должного уважения. Тайна их теперь была слишком проста и понятна ему.

Наклонившись к самородку, он внимательно осмотрел место отруба, подливившись еще раз его гигантским размерам. Какой же величины должен быть тот, частью которого этот самородок являлся?...

7.

Выйдя из хижины, он осмотрелся кругом. Внимание его в первый раз привлекла широкая расселина в скале, расположенной внизу тропинки, ведущей в Селение Мертвых. Но не самая расселина заинтересовала его, а дерево, вершина которого упиралась в основание трещины, а сучковатый ствол являлся как бы перекидным мостиком от подножия скалы. Никогда дерево без помощи человеческих рук не упало бы таким образом!.. Увидев Батталу, ожидавшую его, он сделал ей знак следовать за ним.

Расчет его оказался верным. Дерево было срублено топором уже много лет, если не веков тому назад. Одну секунду он колебался, а затем, охваченный внезапной решимостью, стал взбираться по неровностям ствола. Баттала, хныча и взвизгивая, последовала за ним. Трещина тянулась недолго и скоро оканчивалась небольшим обрывом, под которым виднелась большая, замкнутая, круглая равнина, со всех сторон окруженная скалистыми стенами. Равнина оказалась около километра в диаметре и была покрыта плотно смерзшимся снегом. Но под этим покровом лежал мощный слой льда, не оттаивающего и летом. Лед, прекрасного синего цвета, был покрыт множеством камней и заключал полости.

Спустившись с помощью Батталы на дно мульды, Шевцов заметил не вдалеке широкое отверстие в пещере. Он сделал несколько шагов к нему и невольно остановился при входе. Казалось, скупая природа Севера собрала все свои сокровища и спрятала в этом волшебном уголке, укрытом от взоров всего мира. Вертикальные стены, испещренные мощными пластами выходов разных пород, отражаясь в прозрачной как зеркало толще льда, выстилавшего дно пещеры, казалось, продолжались бесконечно в его бездонной глубине. Толстая жила нежно-голубого цвета при слабом свете уходящего дня создавала иллюзию пустого пространства, и вкрапленные в нее крупные кроваво-красные кристаллы какого-то неизвестного Шев-

цову минерала чудились, висящими в воздухе...

Он сделал шаг вперед, но очарование не нарушилось. Продвинувшись еще к дальнему углу пещеры, он вдруг замер на месте, чувствуя, что

у него перехватило дыхание. То, что он увидел там, заставило подогнуться его колени, и он ухватился за Батталу, чтобы не упасть.

В голове его бешеным вихрем пронеслись слышанные им рассказы золотоискателей, ученые трактаты... статьи... заметки...

Американский ученый, основываясь на изучении горных цепей Аляски и Азиатского берега, на протяжении трехсот страниц своего увесистого труда доказывал, что знаменитые россыпи Клондайка и Юкона не более, не менее, как жалкие крохи тех «золотых алтарей», которые скрыты в горных массивах противоположного берега. Шевцов слышал о существовании этих «алтарей золота», но самое пылкое воображение золотоискателя никогда не создавало ничего подобного...

И вот теперь перед ним доказательство слов ученого американца. Но это не было жилой и также мало походило на самородок, даже на самый большой из всех существующих. С таким же успехом можно было сравнить гору с песчинкой, каплю воды с безбрежным океаном. Все золотые самородки мира не составляли бы и тысячной доли того, который был перед ним.

Громадные глыбы тускло-желтого цвета громоздились одна на другую, прорезая толщу скалы. Они приподнимали и раздвигали соседние породы, как будто не переставала еще действовать сила, извергнувшая их из недр земли. Они могли бы сойти за обыкновенный камень, если бы тайну их не выдавал ослепляющий



Баттала сильно надоедала Шевцову.

глаза блеск в том месте, где коснулся топор, блеск, слишком хорошо известный Шевцову.

Руки его дрожали и с губ срывались бессвязные, лепечущие слова. Первые и неожиданно при ви-

дезолота человек победил в нем ученого.

Какая-то пелена, родившаяся в глубине его расширенных зрачков, хлынула в сознание и, не сдерживаясь больше, Шевцов с хриплым ревом бросился к чудовищному самородку. Срывающимися руками он гладил матовую поверхность металла, побелевшими губами лепеча всевозможные ласкательные названия, надевая его самыми различными именами, какие только могла изобрести его фантазия. Помутившимся взором он хотел, казалось, поглотить эти желтые глыбы, это золото, которое принадлежало только ему. Сжимая кулаки, он готов был всему миру доказать свои права на него. Но никто не являлся оспаривать их, и Шевцов пришел в себя, боязливо оглядываясь вокруг. Никого не было кроме Батталы, которая с нескрываемым изумлением наблюдала за ним.

Шевцов почувствовал, как лопнули внезапно цепи, сковавшие его мозг. Мысль была совершенно ясной и работала как никогда.

Он пожирал глазами громоздившиеся глыбы металла, невзрачный вид которых еще больше подчеркивал их значительность. Если тысячи людей находили смысл в добывании ничтожных крупиц желтого металла, то что мог сделать он, обладая этим сокровищем, равного по величине которому не было в мире?.. У него захватывало дух от одного представления раскрывавшихся перед ним возможностей, и губы его сами собой твердили одно слово, которое так долго не приходило к нему.

— Бежать... Бежать отсюда! Врачи излечат его болезнь, и он снова вернется за своим сокровищем. Все состояние его духа вылилось в одном этом слове. Золото было лишь предлогом, за который цеплялась его ослабевшая воля.

8.

МЫСЛЬ о бегстве всецело поглотила его. Тысячи комбинаций роились в его голове. Техническая сторона осуществления предприятия не была затруднительной. Можно было ехать на оленях; их употребляли, когда требовалось привезти дрова из лесу.—Но куда?.. Огромная, окруженная горами равнина только с одной стороны была открыта, оканчиваясь на востоке безграничным снежным пространством. Белая полоска, видневшаяся там, где кончалась последняя граница леса, манила его своей кажущейся доступностью, и он выбрал это направление. Улучив удобный момент, Шевцов со всей осторожностью завел речь об этом предмете.

— Скажи, о Нгурн! Что там, где кончается лес, и есть ли там горы, как и здесь?

Нгурн посмотрел на Шевцова.

— Там,—сказал он,—махнув рукой на восток,—там—Великий Снег. Никто еще не приходил оттуда, и те, которые уходили туда, не возвращались. Я был юношей, когда трое лучших охотников ушли за стадом оленей в область Великого Снега и не вернулись. Правда, одного из них нашли через два полнолуния люди, отправившиеся в лес за ветками для факелов, он был худ, как ты, когда Баттала нашла тебя, и съел всю свою одежду. Он умирал с голода и не мог говорить. Хотя он и поправился впоследствии, и солнце еще столько раз стояло высоко в небе, сколько пальцев на твоей руке, прежде чем его снесли в Селение Мертвых, но он все равно был уже почти мертв и беспомощен, как маленький ребенок. Великий Снег ослепил его.

Шевцов вздрогнул при первых словах, подумав, что тот отгадал его намерение, но каменное лицо шамана

не отражало никакой мысли, и он успокоился.

— Блеск снега страшен весной, а теперь еще только начало зимы,—подумал он. И решение его было принято.

Ночью новое сомнение охватило его.—Так ли он свободен, как думает?.. Он старался отогнать это подозрение, утешая себя мыслью, что дикари ведь считали его божеством. Но почему же во время прогулок ему так часто приходилось встречать людей из племени в таких местах, где им совсем нечего было делать?.. Неужели за ним следили?

Решив проверить свои опасения, он на другой день преувеличенно собрался на прогулку. Отойдя порядочное расстояние, он пустился бегом и остановился, только добравшись до маленькой полянки. Вскоре он услышал хрустение сучьев в лесу и, отправившись на звук, заметил уходящую от него фигуру. Деревья не позволили ему различить, кто это был. Опасения его подтвердились. Дикари стерегли его...

Он горько усмехнулся при мысли о границах своих «божественных привилегий». Все его замыслы рассыпались прахом. Да и что он мог сделать, один, в неизвестной стране, не умея даже управлять оленями?.. Шевцов взглянул на свои руки, которые все еще были тонки и висели, как плети.

Он совсем упал духом, когда блещущая мысль неожиданно ослепила его. Как он раньше не вспомнил, что Баттала может помочь ему! Но хорошо ли он сделает, лишив ее всего, что было для нее родным и знакомым? Если бы он еще мог отвечать на ее чувство...

Но этот шевельнувшийся в нем голос он быстро убил хитрой и гибкой логикой эгоиста. Кто она?!. И чья жизнь в конце концов имеет большую ценность: — его или этой ничтожной дикарки? И он отбросил колебания.

Баттала с удовольствием заметила перемену в его обращении с ней и отнесла это за счет проснувшегося в нем, наконец, чувства. Насилюя свою

натуру, Шевцов заставлял себя ласкать дикарку, казавшуюся ему теперь ужасной и отвратительной.

Из своего жизненного опыта он не вынес искусства обращения с женщиной и впервые серьезно пожалел об этом. Но опасения его были совершенно напрасны. Баттала была только самкой, и самкой слишком первобытной, чтобы заметить искусственность его ласк.

И один раз, наблюдая за Батталой, выполнявшей свои естественные надобности, — скрывать это она считала излишним, — он поймал на себе ее взгляд, полный предвкушения восторгов любви, и решил, что почва подготовлена достаточно.

Баттала плакала и стонала, извивалась у него в ногах, умоляла не требовать от нее невозможного... и Шевцов уже почти колебался. Он настаивал, последним усилием, собрав остатки воли. В его голосе Баттала почувствовала волю мужчины, который решил, что так будет, и присмирела, как под ударом.

Шевцов торопился, не особенно рассчитывая на силу своего внушения. Один Нгури был помехой, и Шевцов решил не останавливаться перед его убийством, если бы это потребовалось. Кашляя, он выплюнул кровь и обратил внимание на этот зловещий симптом. Надо было торопиться!

На его счастье умер Мттоух, престарелый начальник соседней деревни, и все племя собиралось достойным образом отпраздновать это событие.

Шевцов усилил волевое давление на Батталу, готовясь к решительному шагу.

Когда все ушли к Мертвым, он, в полном одиночестве, стал ожидать условного знака Батталы. Сердце его как будто собиралось разбить грудную клетку. Он вскочил, услышав условленный крик, в последний раз взглянул на свое жилище и вдруг, в порыве бесцельной жестокости, выхватил голову из очага и бросил ее в кучу сухой травы в углу хижины.

Баттала ехала впереди, он за ней, в маленьких санках, запряженных парой оленей. В санках можно было лежать только на животе, и Шевцов скоро опять почувствовал теплую соленую струйку во рту. Дорога шла мимо Селения Мертвых, и Шевцов опасался быть замеченным.

Окончилась последняя граница леса, и двое саней ехали

вдоль высокого хребта, с крутых склонов которого нависали огромные глыбы снега. Шевцов заметил вдруг, что белая масса, нависавшая над дорогой, внезапно зашевелилась.

Все затем произошло в одно мгновение. Снежная лавина рухнула на передние сани, и его олени рванулись в сторону из-под сыпавшихся комьев снега. Он хотел вскочить, но руки и ноги и все тело уже больше не принадлежало ему. Жизнь уходила так же внезапно, как и появилась... Олени постояли немного и тихо двинулись обратно...

Шевцов в последний раз открыл



Все золотые самородки мира не составили бы и тысячной доли того, который был перед ним.

глаза и увидел столь знакомую ему красную скалу. Он хрипло засмеялся при мысли о неотвратимости Рока и последним усилием выплюнул душившую его кровь.

Но прежде, чем пала на него тень Врат Вечности, увидел он Нгурна, старческой рукой занос-



сящего нож, и увидел себя самого в хижине Мертвых. И не успел еще вырваться красный поток из горла оленя, как другой поток хлынул у него изо рта, окрасив снег в бледно-розовый цвет, казавшийся красным в лучах восходящего солнца...

В следующем, № 10-м „Мира Приключений“, будут помещены три премированные на ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ рассказы, — бытовой и два научно-фантастических:

З О Л О Т О ,
Л У Ч И Ж И З Н И ,
Т А Й Н А Г О Р Ы К А С Т Е Л Ь

и много другого литературного и художественного материала.

Для постоянных читателей будут приложены карточки - бюллетени, дающие право голоса о распределении 3.150 р. премии за рассказы (см. № 8 „Мир Приключений“).

ЗУБ ЗА ЗУБ



РАССКАЗ, ПРЕМИРОВАННЫЙ
НА ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
„МИРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ 1927 ГОДА.

По регистрации **№ 802.**

Девиз: Иван Буйный.

Иллюстрации И. А. ВЛАДИМИРОВА.



Тучи словно собрались выплакать всю горечь свою над лесом. Не переставая, брызгались они сверху прямыми струйками тепленькой водицы.

В стогу свежего сена мы со стариком-охотником сделали себе пещеру. Сено парило и грело нам спины. Дождевые струйки падали на стог и крупными каплями, как слезы с длинных ресниц, скатывались по сенинкам к нам на ноги. Мы еще глубже запихивали в теплое сено свои спины.

Дождь капал в болото. Оно глотало капли и пузырилось, а тина на болоте, испугавшись такого множества воды, стонала и пудкала: — Пульль... Пульль...

За болотом тянулась изумрудно-бархатная чаруся¹⁾ (она и при дожде коварно улыбалась). За чарусей грудью выпятилась сухая поляна, десятками сосен уперлась в небо, перевалилась островком, и снова в болото, за чарусю лукаво спряталась. На острове в землю вросла грибом-подберезником ветхая избушка. Черными дырами окон глядела она через чарусю на нас. Казалось, древней думой своей

занята была и сквозь густую, дождевую вуаль нам подмигивала.

Дождь сеял свои капли на избушку, глубже в землю ее вбивал. Она, будто отхолодка, сжималась, и развалившиеся ее бревна то рчали, как кости. На дранчатой, перекосившейся крыше, зеленым лишаем мох расплодился...

— Глядишь?—спросил меня старик.

По глазам понял, должно, он мою просьбу; помолчал немного, выжал рукой мокрую бороду и начал:

— Ну что, чудно избушка поместилась? Видишь, вся вереея окружена чарусями, по ней не то волк,—заяц не пробежит: змиг засосет. А человек, гляди, вот где ухитрился построить жилье...

И старик рассказал мне эту страшную повесть из жизни его дедов-извековцев. Свой рассказ он часто прерывал пояснениями от себя, делал выводы, то обвинял героев, то оправдывал их.

¹⁾ Глубокое озеро, скорее тины, чем воды, затянутае сверху слоем переплетенных корней растений и земли.

I.

Бесконечной лентой тянется Мещерский лес. Разрезала его светлым поясом красавица Пра и несет свои то сердитые и мутные, то зеркально-чистые воды сквозь таинственные, непроходимые дебри. А он кудластыми лапами мачтовых сосен да елей небу грозит, и в темной сырости своей сохатых да медведей прячет.

Счастью над людьми лес, березничком густеньким отделил от поляны столетние сосны и на ней приютил Извеково. Тогда в нем было дворов с полсотни.

Раньше жили извековцы в большом степном селе. Тяжко мучили их там власти, а они попрежнему настойчиво крестились двумя перстами и прятали книги свои староверческие, в которых слово «Иисус» было написано с одного «и».

По ночам собирались они тогда где-нибудь за селом, и посылали куда-то «на сторону» людей. Потом сбежались тайком сюда, в Мещерский лес, распродав потихоньку все свое недвижимое имущество односельцам.

Привольно жилось извековцам в лесной глуши. Впервые вздохнули свободно, без начальников суровых и жестоких. Сначала опасались они лесной темноты, а пригляделись—с жадностью набросились на лес, версты за две от села отшвырнули его, пни да каряги из земли повыворачивали и поля на их местах межами разрезали. И этого мало оказалось людям, из самого соки тянуть стали: смола да деготь гнали, сучья в уголь жгли, а потом, разъезжая по степным далеким деревням, орали во всю мочь:

— В-о-о-о-о-т угаль!..

Быстро окрепли извековцы на новом месте. Лошадей хороших завели—одна-одной резвей. По округе их «рысатниками» прозвали за это.

В свободное время извековцы свой праздник устраивали. За селом специальный круг сделали для состязаний. Все село, от мала до велика, собиралось к этому кругу на бега посмотреть.

Был в Извекове Никитон-мужик. Резвая у него была лошадь. Ни одна с ней не могла соперничать. А од-

нажды привел откуда-то «Новокупку» Гришка Зайцов, и она первой пришла к столбу.

Никитон-мужик дня не стал держать свою лошадь, на ярмарку свел. Сполгода разъезжал он потом по конским базарам, рысак искал. Никак не мог по душе себе выбрать. Наконец, выпало ему счастье: в суетлоке ярмарочной издали заметил рыжего жеребчика, к нему подошел. Тот на месте не стоит, шею лебединую гнет, ногами землю роет. У Никитона-мужика глаза от радости засветились, к хозяину подошел.

— Продажный конек-то?

— Коль на базар попал, продажный, значит.

— А цена ему какая?

— Три катеринки цена коню.

Никитон-мужик коня по шее стукнул. Пружиной вздыбил тот на месте.

— Уступай, хозяин,—магарыч жить будем.

К ним цыгане с маклаками подошли, в рот лошади полезли, под брюхо кнутовищем тыкали, с хозяином шептались и хвалили.

— Этой лошади пятьсот цена.

— Получай, хозяин, триста—и полу отворачивали, будто деньги доставать хотят.

Никитон-мужик на цыган рассердился. Понял, что цену на коня хотят поднять, хозяину сказал:

— Коль без цыганьев ладиться будем, куплю, а с ними—другую искать буду.

Хозяин покупателя дельного узнал, цыганам крикнул:

— Без сопливых обойдется, не такая лошадь, чтоб с цыганьями продавалась, отваливайте от телеги.

Запрет потом он лошадь пробовать, на телегу мужиков приглашал.

— Залазь больше, только голову держите, а то оторвется, как трону.

В телегу с десяток желающих налезло, двое на свободное место под уздцы вывели лошадь. Хозяин крикнул Никитону-мужику:

— Ну, держись!—и возжами огрел коня.

Не привык, должно, к таким обидам тот, задними ногами по передку стукнул (хозяин крикнул: «Шалашь!»)

и, как машина, не чувствуя тяжести, вихрем понесся по площади.

Отчаянно застучали колеса, телега вот-вот по воздуху полетит. А конь все быстрее и быстрее закидывает ноги. Хозяин возжи на руки навернул, из рук кровь брызнуть готова, Никитону-мужику кричит:

— Кабы не нужда, за тыщу не отдал бы.

Никитон-мужик, перегибаясь через край телеги и закрывая рукой глаза от летящей в него земли, старался сбоку посмотреть коня. От мысли, что он будет владеть такой лошастью, на душе радость с боязнью смешалась, — а вдруг раздумает продавать хозяин.

Не раздумал тот. Отсчитал ему Никитон-мужик три «катеньки», повод из его полы своей полой выбили и завладел конем. В Извеково привел, все село сбежалось смотреть. Никитон сказал, еле сдерживая радость:

— Теперь... потягаемся.

В праздник нарядная толпа высыпала на круг. На бега лошадей с двадцать самых резвых отобрали. В ряд выстроились. Никитонову лошадь двое под уздцы держали.

Был на селе дед Захар (лет под сто), он всеми порядками заправлял.

К столбу с чугунной доской подошел и колотушкой вдарил.

— Бум-м!

— Сторонись!.. Замну!..

Первым пришел его конь. Встал, крупно бока поднимал с минутку, потом фыркнул раза два и задышал спокойно, будто шагом прошел две версты положенные.

Никитон с дрожек слез, ног от радости под собой не чуял, язык как у пьяного заплетался. Едва выговорил.

— Вот каких лошадей водить надо!

II.

Волчатник с двумя сыновьями ни весть откуда пришел в Извеково. Тихонький такой, ласковый, явился он с ними в сборную избу и мужикам в ноги поклонился.

Молча ждали мужики, пока встанут они. Не захотел встать Волчатник, так и начали просьбу:

— От бедности сюда зашли. Безземелье одолело, и власть притом же дуже обижала, староверы мы то ж. Примите, братцы родные, батраками каждому служить будем.

Умилостивил извековцев Волчатник своим видом смиренным, да покорностью своей. Сами с переселом много горя видавшие, загуторили мужики.

— Земля божья, ее не жалко, разрывай каряги, да паши сколько можешь.

— Аль дегтем займайся.

— Может в пастухи отдашь нам одного, мы не обидим ценой-то.



Как с цепи сорвались лошади, и ветром понеслись к столбу. Хлещут наездники своих лошадей, а Никитон и без кнута всех опередила. К столбу мужики не подъехали, как уже обратно мчался Никитон и кричал:

— Братцы, любого берите, абы не сидеть голодным нам.

Приняли его в общество извековцы. На краю села позьмо ему отвели. К осени Волчатник избу, двор себе сделал и прочим хозяйством обзавелся.

Года з: три разбогател Волчатник. Дивились извековцы.

— Гляди, как кадилу раздул.

— С деньгой, должно, был мужик.

— Какая там деньга, барахлишко, должно, продал там, а сюда деньги прихватил.

— С барахлишка — разбогатеешь, держи карман шире, а то мимо проскочит.

— Не дурит ли на стороне чем-нибудь?

— Не слышать будто — не жалуются.

— Не должно дурить, тихий он человек.

— Как за него ручаться, чужая душа — потемки.

III.

Как привел Никитон-мужик коня — сон потерял. По ночам то и дело с фонарем ходил — караулил. Души не чаял в нем. Будто жену-красавицу лелеял: щетками чесал, солому свежую часто перестилал и овес на ветру лопатой веял ему на корм.

Стерег Никитон коня, а вор его стерег. Зимой, как-то под утро, вошел он в избу со двора, стук услышал. Одеся наскоро, на двор выскочил и по открытым воротам догадался о беде. На улицу выбежал, увидел, как вор у околицы ворота открывал.

Благим матом закричал Никитон:

— Карау-ул!.. Держите!.. А-ей!.. А-ей!..

Гревели щеколдами двери сеней и выбрасывали извековцев на улицу. Бежали они к Никитону и толпой бросились вдогонку.

Звериная, должно, у воров привычка. Не поскакал он по дороге, а к лесу свернул почему-то (а может быть конь заупрямился). По глубокому снегу лошадь медленнее пошла, а вскоре задними ногами ухнула в яму и остановилась. Спрыгнул с нее человек и побежал, карабкаясь по снегу, к лесу.

Заревели извековцы.

— Лови... Ай... Стой... Не уйдешь.

В дымистой морозной тиши на тысячи голосов отзывалось им эхо из темного леса. Ближе и ближе подвигалась толпа к вору. Почуял он, что не уйти ему от погони, остановился. Сбросил кафтан, сапоги валеные снял, и босиком, в одной рубахе, по-волчьи запрыгал к лесу.

Трудно ему было с глубоким снегом справиться. Из сил выбился — встал, шапку на глаза намурил, рукой нос закрыл, в другой — нож сжал и подбежавшим прохрипел:

— Не подходи... кишки выпущу!..

Окружили его извековцы. Подходить бояться и человека в утреннем пред-рассвете не узнают.

Подбегали отставшие и тесней окружали конюграда.

— Брось, стервец, ножик, — убьем не то!

Тот руку с ножом поднял над головой, зверем озирался.

Никитон лошадь из снега выправил, к толпе подскакал, протискался вперед и тоже остановился.

— Ага... попался.

Вор к нему с ножом двинулся. Передние отступили перед ним, а задние вперед подались. Понял вор, что так его скорее схватят, опять остановился. И ноги по-очереди из снега вытаскивал. Советоваться стала толпа.

— Возьми вот его без припасу-то!

— Снасть была б какая, махнул бы его по боку — и хватай.

— А-т, баташком его шарануть сейчас.

— Никитон, метнись на него сразу, а мы подможем, ну! Вали!

— За веревками скачи, Никитон. Петлей его замахнуть можно.

— Подождем, мужики, босяком не долго пропляшет, не весна-красна.

— Он его, морозик, живо подкует.

— Снегом его!

Свернул кто-то ком снега и в вора бросил. Он от снега рукой отмахнулся и лицо открыл.

Ахнула толпа сотней голосов:

— Меньшой Волчатник.

— Серега!

— А-а... вот кто это!

— Бей его! Дуй ребята!

— Снежками ему в морду, глаза заклепай!

Со всех сторон снежками засыпали парня. Попал один в глаз, Серега рукой схватился за лицо. А Никитон на спину ему прыгнул и зубами впился в плечо.

Мигом груды сделали над вором. Его вниз замяли. В суматохе возятся в куче, без разбора тычат кулаками кого попало, лишь бы ударить. Кричали нижние:

— О-й... Кто мне в нос дал?

— Пусти, чортова харя, что ты меня душишь... Я те вор, что ль.

— Ногу!.. Ногу!.. Ай-ай, ногу сломали.

Разобрались, наконец. Сереге руки за спину вывернули. У него глаза пуговицами стали. Голова, как заводная, из стороны в сторону вертится, а ноги сгибаться перестали.

— Волоки его в село, чего в поле без толку бить будем!

— Верно, при всех нужно!

— Другим для отвадки!

Потащили в Извеково. По пруду шли, кто-то крикнул:

— Под лед его!

Все как один завыли:

— Под ле-ед!

— Неси топоры.

— Лом надо, с топором до обеда протяпаешь...

Выглянуло красное, холодное солнышко, негреющими лучами землю ощущало и безучастно выше полезло. Рубинами сверкали ледяные брызги на солнышке, а лед зловеще стрекотал от ударов железа. Прорубили отдушину. Вода хлынула наверх. Словно отогнать извековцев хотела. Прыгали от нее мужики и на Серегу больше злились.

— Промок из-за него... Толкай его!

— Толкай!

Толкнули в прорубь Серегу. Должно последним жаром согрелись у него ноги, упругие стали опять. Перепрыгнул он прорубь.

— Встречай его там, не давай прыгать.

— Лови... Оп!

— Оп!..

Бултыхнулся парень в воду. Мелко оказалось в пруду. Встал он по брюхо и впервые взмолился.

— Дяди! Не допустите умереть без причастья!

— А-а! Воровать шел—причастья не брал? А теперь вздумал!

— Суй его подледа.

— Жердей давайте!

— Верно, жердями ловчей.

Никитон жердей принес. Расхватали их.

— Вот—добро! Давно бы надо.

— Суй дружней.

— Берись... А-оп!

— Толкай разом!..

— А-оп!

Плотно прижалась вода подо льдом. Назад выталкивала Серегу. С полчаса бились с ним извековцы. Парень совсем ослаб. Воды раза два хлебнул. Судорожно хватался он за лед, вылезть хотел. Связали тогда извековцы две жерди по концам, между ними Серегу стиснули и сунули под лед. Как скрылся он в воде, вся толпа замолчала...

Кто-то тихо сказал.

— Готов уж, поди?

А за ним сразу несколько голосов отозвалось:

— Вынимай, чего зря держать.

Вытащили утопленника и с немym любопытством рассматривали его, будто ненароком поймали чье-то тело...

Кто-то сострил неуместно:

— Досыта нахлебался.

Кто-то тихо оправдался:

— Больше воровать не будет!

Никитон-мужик к народу обратился.

— Мир!.. Что с Волчатниками сделаем?

Вспомнили извековцы про Волчатника, опять загалдели.

— Всех их сюда... в одну прорубку.

— Век такого позора не было!

— Не даром богатеem больно скоро заделался.

— По округе не углем торговал, а лошадей воровал.

— Чего—по округе, у своих увели. Волчиха и та не режет скот, нежели невадалеке оценится.

— Дуй их всех!

— Штоб с корнем вырвать!

И через село побежали к Волчатнику.

Пустой оказалась изба. С Серегой возились,—никто не заметил, куда исчез Волчатник с сыном.

Досадовали на себя извековцы.

— Вот, разгоготались там, как гуси, чтоб, сразу схватить!

— Иди теперь их, на лошади ускорили.

— В догоню бы...

— Кто их догонит!

Поспорили мужики, а в догоню так и не поехали.

— Ладно, и по одному памятно б. дет.

— Теперь за десять верст обходить Извеково будут.

— Имущество ихнее сиротам раздать!

— Верно!

И Никитон на крыльцо вскочил.

— Эй! Которые—бездомные, подходи, обделять буду.

— Почему ты обделять будешь?

— Выбрать кого-нибудь надо!

— Чего выбирать, вали, Китон, ты в обиде от них.

— Мир! Анни-Кукушке корову с подтелком отдадим?!

— Дади-им!

— Все раздавай, а избу сечь надо.

Пока растаскивали имущество, потеплели, видно; решили:

— Чего добро зря переводить, пригодится.

— Бездомных в нее поселить.

К обеду лишь разошлись. Тайну свою страшную наказали друг другу беречь. Бездомных заставили Серегино тело в чарусю бросить. А когда отговариваться стали они, на них набросились:

— Добро делить—вы первые, а за мир потрудиться—нет вас!

IV.

Месяца через два появился вдруг Волчатник со старшим сыном в Извеково. В сборню народ собрали. Опять ползал в ногах, прощения у мира просил.

— Мир!.. Мужики!.. Сына родного убили, никому заявлять не буду. Вы не скажете, на век с вами умрет.

Загудела сборня. Волчатник продолжал:

— Мир!.. Выслушайте... Заместа пса он мне был, а не сына. Сызмала кражами занимался. Не раз до полусмерти избивал его за это. С родных мест

уехал из-за него, думал: бросит. На всю семью он позор сделал... Как убили вы его, тошно сначала мне было. Жаль все-таки свою кровь. Теперь вроде забывать стал. Господь с ним! Бог дал—бог взял...—и на потолок перекрестился. Мужики посочувствовали.

— Царство ему небесное!

— А почему ты тогда сбежал?

— Сразу ответ не хотел держать?

— Побоялся, мужики. Думал вгорячах и нас с Федоткой убьете.

Не сразу поверили извековцы. Долго пытали, а Никитон-мужик больше всех шумел.

— Они в первый раз тогда овцами прикидывались. Веры им не должно быть!

Волчатник с сыном ноги ему целовали:

— Никитон-батюшка, посуди сам, как отец за сына ноне ответчиком может быть?

— Резон говорит, ноне за отца родного нельзя поручиться, а молодежь какая пошла? Голову поровит тебе оторвать.

Почуял Волчатник доброту мужицкую и окончательно победил соблазном:

— За прощение ведро водки ставлю на мир.

Заманчиво было обещание. Уж весело дразнили его простившие:

— На краденые деньги и ведра не жалко поставить.

Волчатник через Федотку поклялся им.

— Сыном любимым клянусь, мужики. Кровные мои деньги, пусть руки-ноги отсохнут, если я от Сереги хоть копейку принял когда.

Гуляли потом извековцы. Волчатниково вино пили. А Волчатник с сыном, добро собирая, кланялся всем и благодарил, словно не свое назад брал. Выпившие мужики хвалили его:

— Хороший ты человек, оказывается; зря мы на тебя зло имели, а за сына ты не серчай, потому не мы, так на стороне где-нибудь прихлопнули бы его.

Снова в Извекове зажил Волчатник и попрежнему потекла его жизнь. Только ласковей еще стал в обраще-



Связали извековцы две жерди, между ними
Серегу стиснули и сунули под лед.

ни с извековцами, услужливее. Кла-
нялся мужикам проходя по селу, ему
отвечали охотно, между собой гово-
рили:

— Вот вгорячах напрасленную кару
бы от нас принял тогда.

V.

Проснулся лес от зимней спячки.
На тысячи голосов шумел он весен-
ними утрами ранними. Тетерева в нем
бубенцами звенели. Вальдшнеп, ворча,
сладко чмокал пьяную от соков ве-
сенних зорьку, пролетая над верхуш-
ками леса:

— Курр-курр... цц-ик.

Страшно хохотала белая куропатка
в темноте. А в объятиях косматой
сосны, изнывая страстью, глухарь-
великан, шелкая клювом, словно су-
хими палками бил.

Не мало охотников было в Изве-
кове до глухариних песней. А Ники-
тон-мужик и про лошадь свою люби-
мую забывал в пору весенних токов.
Уходили они с Григорием Зайцовым
с вечера в лес, исчезали там, и на
заре расходились, подслушивая глуха-
рей. Подскакивая как-то Зайдов к глу-

харю, крик услышал в стороне. Ни-
китонов голос узнал. Отчаянно звал
тот о помощи, со стороны чаруси.

Прибежал Григорий, видит: барах-
тается в чаруси человек, с жизнью
растается, ползет по зыбкому коври,
а тина так и всасывает его. Не рас-
терялся Зайцов:

— Держись, Китон... я те валежник
счас брошу — и вместе с ним закри-
чал, ломая сухостойный березняк.

— Ай-ей-ей!.. Сюда-а! Сюда-а!

Бросал валежник Григорий, никак
не мог удачно попасть. Никитон все
ниже и ниже опускался, кричать пе-
рестал. Григорий валежнику натаскал,
мостик стал частилать: клал на ча-
русину зыбкую грудь жерди вдоль, а
на них, поперек, сучья укладывал.
Добрался ползком ближе к Никитону
и сунул ему жердь. Тот схватился и
грудью повис на ней.

— Держись, Китон, крепче! — успо-
коил его Григорий и в село побежал
за людьми...

Когда старик рассказывал мне эту
часть своей повести, он высунул го-
лову из-под стога и указал то место,
где тонул Никитон. Я с ужасом
вспомнил, как утром, в этот день,
зачарованный изумрудно-бархатной
чарусей, густо покрытой золотисто-
желтыми чашечками цветов, я, встав
на брошенную жердь, давил ногой
этот зыбкий природный ковер, спле-
тенный из корней трав. Под на-
жимом моей ноги ковер прорезывался
и из-под него выползала иссиня-

черная, жидкая тина. Мне представилась страшная глубина этого озера, затаиного сверху заманчивой пеленой.

На веревках потом вытаскивали Никитона из чаруси. Едва вырвали из цепких ее лап. Когда вытащили, он полоумными глазами осматривал всех. Толкали его мужики.

— Китон!.. да счухайся ты, слышишь? Китон!

— Никак разум затмел?

— Китон?!.. узнаешь ты меня!.. а? Как тебя сюда занесло?

— Гляди, братцы, с чей-то кровью у него на затылке?

— Гриша, не ты ль долбанул жердью-то?

Разглядывали затылок у Никитона. Сгустками запеклась на нем кровь и чернела. Григорий оправдывался.

— Что я, чумовой, что ль?

— Что там чумовой, мы тебя не виним, не со зла, чай, бросил, облегчение хотел сделать.

И Григорий простодушно согласился.

— А кто не знает, мож и попал как, невзначай.

Не хватись извековцы в полдень Волчатника, так бы, может, и недогадались, как Никитон в чарусю попал.

Пошел к нему сосед и беспорядок в избе увидел, догадался: убежал Волчатник с сыном, наскоро прихватил кое-что с собой. Ласточкой скользнула по Извекову весть. Добавлял к ней каждый что-нибудь от себя и другому передавал.

— Убежали Волчатниковы.

— Они Никитона убить хотели.

— За Серегу, должно, в отместку.

— А как увидели, что Никитона вытащили, так и убежали.

Кучками бегали по селу, собирались, шумели, спорили, пока не решили:

— Догнать их надо.

— По всем дорогам и лесам обыскать.

— Недавно ведь ушли.

— Правильно. Пешком не далеко успели.

Весь лес, за много верст кругом, исходили.

— А тот, — как в воду канул, — говорил мне старик. — Только вот эта

веревка за чарусей и осталась не обысканной.

Не думали извековцы, чтоб мог человек пробраться на недоступную веревку через чаруси зыбкие. Бросили искать.

А к Никитону-мужику разум так и не вернулся: ходит он с непутевым взором по избе, вдруг упадет грудью на скамейку или на стол и руками крепко вцепится. — Виделась, должно, холодная, липкая тина, да жердь, брошенная Григорием Зайцовым.

VI.

Ошиблись извековцы: зверь не отыскал тропы через чарусю, человек — нашел.

И сейчас неизвестно, как попал туда Волчатник с сыном. Только ему и была знакома эта тропа. Прикидывался он ласковым с извековцами, а сам заранее отыскал путь на веревку. Тайком переносил туда вещи и страшную беду готовил мужикам. Вскоре построил он избу, поселился в ней с сыном и разбоем стал заниматься.

Возвращались извековцы, распродавши деготь, покупки домой везли. Останавливали их в лесу Волчатник с Федоткой, деньги отбирали, били жестоко и, на смех, лошадям хвосты отрезали: тыпнет острым топором по «сурежке», и обезумевшая от боли лошадь несет избитого хозяина домой.

Трепетало перед ними Извеково. Дня по два, по три ждал каждый в дальнем торговом селе Курже своих мужиков, и тогда обозом ехали по лесу.

Выискался как-то один, решил Волчатника подкараулить в ночное время. Мужики взмолились ему. Дед Захар в ноги упал.

— От мира тебе поклон даю, Семен!

С неделю пропадал Семен в лесу с ружьем. Через неделю нашли его Извековцы утром у своей околицы, исполосованного топором и остывшего. Над мертвым шумели.

— Всех по одному изведет, душегуб. Что-нибудь нужно делать с ним.

— Властям объявить про него!

— Не годится властям. Про Серегу расскажет, нам же попадет тогда.

— Сталоверы у властей не в почете, хуже Волчатника замытарят.

— Своими силами надо поразить.

— Всем миром пойти, из ружьев убить.

— Ничего ты с ружьями ему не сделаешь. Мост через чарусю как-нибудь построить нужно, тогда выживем.

— Построй через нее! Кому башка своя надоела. Пока мостишь, он половину перебьет, у него солдатское ружье.

Старики решили:

— Просить нужно его, чтоб сам ушел.

— Откупиться следоват.

Всем селом пришли к чаруси. Кричали Волчатнику:

— Доколе нас обижать будешь?

— За что мучаешь?

Волчатник вышел из избы, ружьем погрозил, крикнул:

— Серегу моего вы не так мучали.

— С повинной мы пришли к тебе, не бранись.

— Пятьсот тебе соберем, уходи от нас, откуда пришел — продребезжал дед Захар.

Вороном крикнул им в ответ Волчатник:

— Посмотрим, кто скорей уйдет!

Обидно показалось извековцам, грозить начали. Волчатник ружье навел на них. У всех дух застыл.

— Э-й... Э-й... что ты делаешь?!

Не послушал Волчатник. Выстрелил. Дед Захар за голову схватился и на месте волчком завертелся. Широко по лицу кровь побежала, льянную бороду красила и на землю падала.

Разбежались все, а потом за убитым пришли.

VII.

В Курже, на базаре, пошел покупать Григорий Зайцов порох, Федотку Волчатникова увидел — тоже порох покупал. Григорий к своим побежал. Домой ударились. По приезде все село собрали, решили подстеречь Федотку. Версты на три растянулись вокруг чаруси, в кустах попрятались и ждали терпеливо. Солнце зашло. На небе долго заря держалась. Волчатник за сына беспокоился. Не раз выходил из избенки, поглядывал.

Осторожно шел Федотка к знакомой тропе, не ждал засады. Почти в упор ударил в него Григорий Зайцов. Упал парень, вскочил, к чаруси побежал и в десяти шагах уяз.

Волчатник выскочил из избы, сыновью беду увидел. На глазах у него, наскоро зарядив ружье, добил Григорий Федотку.

Сам виноват Григорий, что помедлил в кустах скрыться: сразила его Волчатникова пуля. На выстрелы сбежались, и залпами палили по Волчат-



На чарусину зыбку грудью наложил Григорий жердей и сучьев... Никитону жердь сунул...

нику. Вскрикнул тот, упал, словно в предсмертной судороге забился.

Радостно закричали извековцы, из-за кустов выбегая:

— Готов!.. Готов!..

Притворялся только Волчатник. Вытянулся он на земле и еще две пули послал в них. Острый был глаз у него и бердана хорошо служила.

Дня два не давал потом оттащить мертвого. Чаруся, где сына его убили, не скоро засасывала. А как засосала чаруся Федотку,—и Волчатник исчез.

VIII.

Все лето не было слышно о Волчатнике. Решили извековцы, что ушел он куда-нибудь. Утешали друг-друга.

— Не легко ему стало в наших местах. Двух сынов потерял.

А другим не верилось, предостерегали они:

— Не таков Волчатник, чтоб в покое нас оставить, того и жди—объявится.

— Придумает чего-нибудь.

— Рабочая пора подходит, хлебишко последнее не сжег бы.

— Караулить надо.

Как-то в сборне решили: по десять человек караулить село всю рабочую пору, по ночам.

Напрасно ждали урожая извековцы. Напрасно серпы готовили. Совсем уж собрались в поле выходить, зерно на зуб пробовали:—денек другой постоит, да начинать пора.—Расшались как-то ночью ветер. По лесу мчался, бешеный, сосны валил: падали сосны и сучьями, как костями, хрустели. Вырывался на поле, рожь жестоко мотал. Вслед за ветром лезла по небу черная туча.

У самого леса заметили караульщики пламя. Пока тревогу забили, полководьем широким раскинулся огонь и к селу тянулся. Рвал ветер горящую рожь и жгутами огненными в небо бросал. Силился пожар все темное небо заревом осветить, а оно в сопротивлении почернело, будто залилось на него, что покой нарушил.

Видели сторожа в заревом свете как бежал, пригибаясь к земле, человек, выкошенные дуга пересекал. Догадались. Дико закричали:

— Волчатник!.. Волчатник!..

— Лови его!..

— К трясине побежал!.. Туда!..

— Туда!.. бежите!.. К избенке!..

Забыли о пожаре извековцы в злобе звериной, — хлеба под самые овины придвинулись и ветер на село,—схватывали, что попало, и с ревом по лесу неслись.

— К трясине!.. К избенке!..

Не ошиблись. Верно: к чарусе направился Волчатник.

Должно быть заспешил он, либо память плохо служила после страшного дела, только оступился он с тропы. Прорвалась под ним зеленая чаруся, цепко за ноги схватила и медленно вниз потянула, жадная.

Извековцы подбежали,—уж под поля увяз Волчатник. Убить хотели некоторые, другие остановили:

— Стой! Стой! Не стреляй. Пусть казнится, душегуб проклятый, — и Волчатнику кричали, будто муки его жевали:

— Что? Внизался?.. Как там, не сладко, поди?

— К утру, гляди, весь уйдешь туда.

— Тину хлебать будешь, сыновей там не обидь!

— Может жердочку бросить тебе? а?..

Над ними зарево висело, и от этого в густых вершинах сосен прятались красные «зайчики», а ветер ловил их там, сучья ломая

Подбежал огонь к селу и галками запрыгал с избы на избу. Смерчем свивался в небе, а по низу уж за село языки вытягивал и вылизывал жнивье.

В страхе бежали от него бабы, ребятшек теряли. Скот метался в хлевах. Между горящими избами бегала девочка, за волосики хваталась. В полуверсте чувствовался жар. Ближе—рубашка загоралась. Скоро прогорали смолистые, бревенчатые стройки.

Перед рассветом хлынула туча дождем. Затих пожар.

От села—колчужкидымились, а поле, где рожь вечером гнулась, будто кто черным сукном затянул.

Страшные были минуты извековцам, а про Волчатника вспоминали. Утром отправились туда.



Забыли о пожаре извековцы в злобе звериной, понеслись за Волчатником. А под ним прорвалась чаруся, схватила и вниз потянула...

По плечи всосала его тина. Обгорелым пеньком чернело лицо на зеленом бархате чарусином. Памяти, видно, не лишился. Стонал глухо.

Стояли над ним извековцы—немые.

Когда старик кончил рассказывать—я очень мало изменил характер его речи,—я составил сломавшуюся от сырости папироску и у меня промелькнула мысль написать рассказ. Старик оборвал мои мысли.

— От табачишшем—ты зазря занимаешься,—и добавил:—кой место ты куропадей срелил—наше Извеково раньше было. Теперь Горелью прозывают, а избушку вот эту (он пальцем ткнул в сено) Волчатникова верей—зовут у нас.

Я закурил. Старик закашлялся и сердито уронил.

— Злобачи-и.

К извековцам ли с Волчатником это относилось, или к курильщикам—не понял я...

От дыма старик высунул голову изпод стога и посмотрел на мокрушие облака. Я слышал только как пулькала тина на болоте:

Пульль... Пульль.

ИЗ ДРУГОГО МИРА

РАССКАЗ, ПРЕМИРОВАННЫЙ
НА ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
„МИРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ 1927 ГОДА.

По регистрации **№ 212.**

Девиз: «DUM IGNORAMUS».

Иллюстрации Н. М. КОЧЕРГИНА.

1.

Неоглядными рядами справа и слева, косматясь пеною и поблескивая брызгами, пронизанными солнцем, бежали к берегу бесконечные волны. На песке, среди гальки и мелких ракушек, оседали они клочьями белой ваты, тающей и вновь нарастающей. До самого горизонта не было ничего, кроме мерного ритма колышущейся водной пустыни. Рождались волны в туманной дали, где нельзя было отличить небо от моря, зыбились рядами без конца и меры, и угасали в немолчном шуме сегодня, как вчера, как год назад, как в продолжение сотен, тысяч, миллионов умерших лет.

Сзади, в туманном мареве, громоздясь уступами, окутанные дымкою, синели горы. А справа, между горами и морем, взбираясь со ступеньки на ступеньку, одетый зеленью садов, подставляя солнцу свое каменное, запыленное лицо, город.

Мешканцев сидел на гранитной скамье, в незапамятные времена поставленной чьей-то заботливой рукой на взморье, у самых волн, источивших уже до половины каменные столбики.

Здесь думалось легко и свободно обо всем, что казалось запутанным и неясным в тиши кабинета. И сегодня опять осаждали мысли все о том же, как и год, как и пять лет назад, когда он еще начинал только свою работу. Не умирали сомнения, что, может быть, эти годы прошли впустую, в погоне за фантазией, за нелепой мечтой, рожденной в сутолоке

новых идей, хлынувших в мир за это сумбурное время. А вот теперь, когда он смотрел на ряды бегущих под легким ветром пенных волн, с шорохом облизывавших берег, — все опять становилось понятно и просто.

Уже давно он скрывал от всех свою работу, нарочно удалившись в этот почти захолустный городок, где официально занимался изысканиями по добыче ценных солей из местных источников и заведывал лабораторией опытного завода, который, в сущности, больше значился на бумаге, чем существовал в действительности.

Жил он впроголодь, перебиваясь уроками в местных школах, случайными лекциями и статьями в столичных журналах. И все эти скудные доходы вместе с тем, что удавалось урвать от скромных средств, отпускаемых на лабораторию, уходили целиком на осуществление заветной мысли.

И вот, когда ему становилось страшно, что все его жертвы, лишения, многолетний упорный труд — проваливаются в пустоту, в ничто, — он уходил к морю и здесь думал.

И, как всегда, тут им овладевала опять спокойная уверенность и угрюмая настойчивость. Несомненно, он стоял на верном пути, и, когда он добьется окончательного результата — это будет величайшим из открытий современности. Правда, основная мысль не принадлежала ему: гениальный немец первый приоткрыл завесу. Но Эйнштейн приходил к этому рядом удивительных умозаключений, заставляющих мысль отказаться от

проторенных путей, переворачивающих кверху ногами обычные представления, но как-то мало связанных с действительностью. Мешканцев должен был претворить эти отвлеченные теории в реальность, ощутимую руками здесь, на земле.

И всякий раз, когда он от мелочей и подробностей повседневной работы переходил к общей идее, лежащей в ее основе, у него начинала кружиться голова. Ведь обычно об этом не думали серьезно и углубленно, принимали сознанием до смешного легкомысленно. Без особого труда соглашались с тем, что Эвклида надо сдать в архив, что наша вселенная имеет внутреннюю кривизну, что она изогнута по направлению четвертого измерения, что, следовательно, кратчайшее расстояние между двумя точками вовсе не есть прямая линия и т. д. И как-то проходили мимо неизбежного, колоссального вывода: значит, это четвертое измерение существует, значит, это уже не предмет гимнастики ума для досужих математиков, а реальность такая же, как это море, тысячелетиями облизывающее песчаный берег, синие горы на горизонте и глубокий провал пламенеющего неба.

Это совершенно ясно. Ведь было время, когда здесь же, на отлогом берегу, дикарь скиф или сармат следил взором за неумным бегом волн, и ему в голову не приходило, что безграничная плоскость водной пустыни перед ним — вовсе не плоскость. И мысль об этом он почел бы бредом безумца. А позже за эту же мысль святая церковь жгла на своих спасительных кострах тех, кто осмеливался изогнуть эту плоскость в шар, несущийся в необъятных пустынях мира по законам Вечного Разума. Но вот человек оторвался от двух измерений поверхности земли, опустился в ее недра, наконец, поднялся торжествуяще вверх, осознал себя в трехмерном мире.

Теперь настала пора сделать следующий шаг, перестроить мозг, воспринять в душу новый мир, раздвинуть его пределы по непонятному, неведомому до сих пор направлению.

И он, Мешканцев, должен был положить эту ступеньку, на которую подымется человечество. Это он поставил задачей своей жизни. Путь для ее решения логически был ясен; надо было заставить наше обычное трехмерное пространство изогнуться, хотя бы в небольшом объеме, по этому таинственному измерению, больше, нежели равномерная его кривизна вокруг, как это имеет место, например, по утверждению Эйнштейна, в местах средоточия огромных масс материи, около солнца и других звезд. Средством же должна была служить усиленная концентрация радиоактивных излучений, имеющих, по мысли Мешканцева, связь с этой загадочной областью пространства. И тогда оставалось исследовать свойство этого пространства в новом состоянии. Кое-что он уже угадывал и мог предсказать заранее. Час, когда сбудется его предвидение, должен был стать величайшим торжеством его жизни. Но пять лет прошло, — и пока безо всякого результата... Так неужели же все это только мечта, пустой вымысел, ложная дорога?

Вот какие сомнения обуревали его от времени до времени и заставляли, как и сегодня, спасаться к простору древнего, тысячелетнего моря. И, как всегда, оно не обмануло: упрямая, спокойная уверенность вернулась к Мешканцеву. Облегченный, он бросил последний взгляд на дымок парохода на горизонте и белые пятна парусов в зеленовато-голубом мареве, и зашагал по песку к городу.

На заводе его ждала неприятная встреча. Когда он вошел в свой маленький кабинет, у стола сидела изящная женская фигура в бледно-сиреновом платье и с пышными золотистыми волосами. Мешканцев остановился, вопросительно глядя на посетительницу. Она поднялась порывисто и пошла ему навстречу.

— Простите, вы товарищ Мешканцев? — услышал он певучий грудной голос, заставивший его взглянуть пристально в лицо говорившей.

— Я Мешканцев. Чем могу служить? Серые глаза смотрели твердо и спокойно.

— Я—студентка Н-ского Института. Прислана сюда из краевого центра на три месяца производственной практики. Вот мои документы.

Мешканцев, не двигаясь с места, спросил угрюмо:

— Ваша специальность?

— Минеральный анализ.

— Боюсь, что для вас мало найдется материала для работы на заводе...

— Я уже была предупреждена об этом. Но у меня определенная командировка, и выбирать не приходится. К тому же, я полагаю, что везде можно найти материал, если суметь за него взяться.

— Вы думаете? — сумрачно улыбнулся Мешканцев и продолжал про себя:

— Ого, девица с апломбом. Но на кой черт мне ее прислали? Уж не соглядатай ли из центра? Кажется, там кое-что пронюхали о моих работах... Этого еще не доставало. А впрочем—нет, — слишком уж красива, до безобразия красива. С этакой физиономией и прочими онерами—прямое дело—крутить головы нашим молодым инженерам и техникам. Гм, минеральный анализ... А сама, наверное, путем ни одной установки не соберет и путается в простейших вопросах. Ну, посмотрим.

Мешканцев задал посетительнице еще несколько вопросов, осведомился, как она устроилась с квартирой, и сказал сухо:

— Ну, что ж, недельки две походите по заводу, приглядитесь, познакомьтесь с работой и... сотрудниками, а там—посмотрим.

Девушка хотела было что-то возразить, но, видимо, раздумала, решительно встала и, кивнув головою Мешканцеву, вышла.

— Однако, фрукт..., — подумал он, провожая ее глазами, и вдруг, как бы нехотя, подошел к окну и стал глядеть на выходную дверь. Через минуту светлая, вся будто пронизанная солнцем фигура, вышла на крыльцо, постояла в нерешительности несколько секунд, досадливо передернула плечом и направилась к главному корпусу завода. Шедший навстречу молодой инженер молча остановился и, рази-

нув рот, провожал девушку взглядом, пока ее не проглотила массивная, окованная железом дверь.

— Ну, начинается, — с усмешкой подумал Мешканцев и сел рассматривать документы, оставленные посетительницей на столе.

2.

20-е июня.

Прошло почти две недели с тех пор, как эта странная девушка появилась на заводе и, кажется, она обманула самые разнообразные ожидания, с нею связанные. Наша молодежь разочаровалась прежде всего в своих расчетах на легкий флирт (а может быть и на кое-что не столь безобидное) с обладательницей хорошенького личика. Первые же поползновения в этом направлении были остановлены самым решительным образом, настолько решительным, что попавшие в переделку дня три ходили мокрыми курицами, со сконфуженным видом, и старательно избегали встреч с Корсунской. Обманулись и наши дамы, предполагавшие найти в ней участницу своих интимных и неинтимных бесед на обычные темы, начиная с алькова и кончая кухней. И, наконец, обманулся я сам. Эта девушка не только прекрасно разбирается в своей специальности, она обладает живым и ясным умом, огромными познаниями и широкой начитанностью во многих областях знания. У нее удивительная способность сватывать сущность вопроса, строгая и прямолинейная логика. Словом, это прямая противоположность тому, что я, откровенно говоря, рисовал себе, как специфически женское и, вместе с тем, она бессознательно женственна, полна скрытого горения и... красива до неприличия, надо отдать ей справедливость. Но это, разумеется, только к слову. Я люблюсь в ней редким случаем гармонии всего человеческого.

И, так как я не собираюсь растопыриваться перед ней по петушиному, то и она не топорщится, как с нашей молодежью; говорит обо всем просто, умно и свободно, а разговор с ней—истинное наслаждение.

Работает она на заводе, и не далее, как вчера, указала в процессе производства ошибку, которую повторяли из года в год, благодаря небрежности, рутине, привычке к старым, непроверяемым критически методам. Само по себе это, пожалуй, мелочь, но ведь однако до нее никто ее не замечал...

Нет, это удивительный человек. И беседы с нею, точно проветривающие душу, как нельзя более пришлись кстати моим разболтавшимся нервам. Это такая кристальная ясность, такая уверенность в силах человеческого разума.

А вентиляция моим мозгам нужна. Помимо обычных сомнений, от которых я бежал к морю, я чувствую что-то новое, странное и тягостное. Какая-то неясная тревога, томление, беспричинная подавленность, мешают мне работать. Иногда бывает похоже на состояние ночного кошмара, когда хочешь бежать—и ноги не двигаются, хочешь крикнуть—и из стиснутого горла не вырывается ни звука. Скверно,—гайки развинтились основательно. Надо бы в сущности бросить на время всю работу и отдохнуть самым прозаическим образом: лежать где-нибудь на солнцепеке, есть, пить, удить рыбу, читать глупую книжку и ни о чем не думать...

22-е июня.

Вчера я был невольным свидетелем интересного разговора. Выйдя вечером в садик около заводского клуба, я увидел две темные фигуры на скамье под корявою липой. Один голос, вибрирующий тенор, в котором я узнал нашего юрисконсульта, молодого и неглупого парня, немножко



...Светлая, вся будто пронизанная солнцем, она вышла на крыльцо.



экзальтированного, говорил, слегка декламируя:
— Дело, конечно, не в грубой физиологии, Нина Павловна. Основное—это известное со-

звучие душ, одинаковое или во всяком случае сходное восприятие мира, общие идеалы...

— Бросьте, Николай Иванович,— ответил голос Корсунской, дрожавший еле сдерживаемым смехом: — какую старину вы перетряхиваете: сродство душ, общность идеалов... добавьте еще о двух половинках сердец, ищущих друг друга,—и арсенал будет полный.

— Я вас не понимаю,— обиженно запротестовал тенор.

— А вы почитайте старика Дарвина, Мечникова, Фрейда и еще кое-что в этом роде,— тогда поймете. Именно физиология и есть основное, а все остальное — побрякушки, сахарная водичка.

— Позвольте, однако... — недоумевал тенор,—ведь мы не животные...

— Самые настоящие: тип — хордовых, подтип — позвоночных, класс — млекопитающих, подкласс — живородящих, отряд — homo sapiens, и так дальше, вставая сказала Корсунская, и голос ее вдруг стал серьезен,—я не говорю, чтобы я сама была от этого в восторге...

Мне показалось, что она содрогнулась.

— Все это в достаточной мере омерзительно. И, если бы я была на месте творца, я постаралась бы устроить это иначе.

Да, с этой девушкой публике нашей делать нечего. Но почему-то и мне самому стало не по себе после этого разговора.

24-е июня.

Вчера поздно вечером, занимаясь в лаборатории, я почувствовал себя настолько скверно, что бросил работу и еле добрался до постели. Глаза застилал серый туман, кровь стучала в виски так, что казалось, будто там отбивают десятки гулких молотов. И смутная тревога, томящая меня уже несколько дней, перешла в щемящее чувство беспричинного страха. Почти всю ночь я не сомкнул глаз. Только под утро забылся тяжелым, мутным сном и видел Корсунскую. Она стояла на крутом берегу над темным морем, кишащим какими-то неясными, злобными силуэтами, и твердила мо-

нотонно: «Омерзительно... омерзительно...»

Боюсь, что она начинает слишком сильно занимать мое внимание.

26-е июня.

Сегодня я впервые наблюдал явление, которого ждал с нетерпением все эти долгие годы: отдельные линии в спектрах газов сместились в сторону, особенно в зеленой его части, а некоторые распались на ряд более мелких, неясно очерченных полос. Никакого другого объяснения этому я не могу подыскать, кроме того, что мне удалось, наконец, обнаружить это таинственное четвертое измерение здесь, у себя под руками, удалось его заставить проявить себя.

Но странно: я не ощущаю необузданной радости, какой ожидал, когда рисовал этот момент в воображении. Ничего, кроме заботы о том, что надо тщательно проверить еще раз опыты, чтобы гарантировать себя от ошибок. Я думаю, это объясняется тем, что я совсем расклеился за последнее время: по ночам мучаюсь бессонницей или тяжелыми кошмарами, днем вздрагиваю при каждом стуке двери или шорохе, а с вечера на глаза опускается серая пелена, и все предметы в ней получают странные, фантастические очертания.

28-е июня.

Сегодня я до того раскис в этой неустанной нервной тревоге, подхлестываемый возбуждением от недавнего открытия, что сделал непростительную вещь: после пяти лет упорного молчания, под впечатлением минуты, рассказал о своей работе, о своих сомнениях и достижениях человеку, случайно брошенному на моем пути, который скоро исчезнет с моего горизонта в толчее жизни, так же внезапно, как и появился. И это только потому, что мы встретились в недобрую минуту, когда молчание и одиночество стали окончательно невыносимыми.

Началось с безобидного разговора об идеях Римана и Лобачевского. И, конечно, Корсунская знала об них не только по наслышке. Риманову гео-

метрию четырех измерений она протудировала добросовестнейшим образом, а Лобачевского цитировала чуть не наизусть и говорила о нем с энтузиазмом.

От них перешли к Эйнштейну, перевелшему теоретические построения математиков на почву реальных возможностей.

— Я бы не удивилась, — сказала Корсунская, — если бы в один прекрасный день мы здесь, на земле, оказались в состоянии увидеть, прощупать это таинственное направление, заглянуть через него в такие провалы, перед которыми наша вселенная — щепка в океане.

Это оказалось толчком, от которого я точно с горы покатился. Я рассказывал все, начиная с первых моих попыток, ряда неудач, сомнений, новых исследований и кончая последним результатом, осуществившим то, о чем она сказала в своей последней фразе.

— И вы могли бы мне это показать? — только спросила она, когда я кончил, и в глазах ее ничего нельзя было прочесть. Нина Павловна была верна себе: ей нужны были факты. Останавливаться теперь было смешно и нелепо; я повел ее в лабораторию. Когда, после этого она, уходя, пожала мне руку, — это было уже не обычное официальное пожатие, ничего не говорящее; ее рука на секунду дольше задержалась в моей, и в глазах мелькнуло что-то такое, в чем я не успел разобраться, но от чего сердце заняло томительно и радостно. Что это еще такое?

30-е июня.

Что-то странное творится или со мною самим, или вокруг меня. Если это протянется еще несколько дней, — я сойду с ума. О вчерашнем вечере я не могу вспомнить без острого ужаса. Я сидел в лаборатории, возле спектроскопа, и изучал изменения в цветных линиях его поля. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта; за окном бушевал ветер и швырял в стекла пригоршни песка, так что казалось, что там, во тьме, стоит кто-то и царапает их шершавой лапой. Знакомое чувство тревоги росло

непрерывно. Мерно постукивал маятник часов, мелькая медным диском и отмеривая умирающие секунды.

Вдруг мне показалось, нет, не показалось, а я почувствовал с несомненностью сзади меня в комнате чье-то присутствие. Однако я знал, что никого нет, так как наружная дверь была заперта. Тишина стояла мертвая. Несколько минут я держал себя в руках и продолжал работать. Вдруг пламя горелки на столе вспыхнуло и погасло, будто от внезапного порыва ветра. У меня было ощущение, что кто-то вплотную подвинулся ко мне и дышет за спиной. Я быстро обернулся, — пустота и тишина. Падали секунды, и шуршал песок за окном. Сердце билось сильными ударами, не хватало дыхания. Я сел к столу. Присутствие невидимого посетителя стало физически невыносимыми.

— Кто тут? — крикнул я не своим голосом и, вскочив, обернулся назад. Молчание... Распахнувшаяся настежь дверь чернела провалом в темноту... Какие-то беглые тени металась по углам. Серый туман колыхался перед глазами; сквозь него огни лампочек мерцали, окруженные цветными ореолами.

Мне казалось, будто я один во всей вселенной, будто все провалилось в первобытный хаос, и я, жалкий, одинокий, запуганный человек, песчинка мироздания, остался лицом к лицу с тем, кто стоит где-то тут рядом со мною, невидимый и молчаливый, и дышет мне в лицо...

Я не помню, как я выбрался из комнаты. В эту ночь я не спал.

4-е июля.

Три дня я пролежал у себя дома и не выходил из комнаты, совершенно разбитый этой дикой галлюцинацией. Ведь не бесплотные же духи удостоили меня своим посещением! И все-таки, если еще раз со мной случится что-либо подобное, я не знаю, чем это кончится.

На следующий день у меня был милейший доктор Асатуров. Он нашел невроз сердца или что-то в этом роде на почве переутомления. Разумеется, он прав: все это просто усталость, и

мне необходим отдых. Но не хочется бросать работу сейчас, когда я подошел к таким результатам, — страшно потерять нить.

И потом странно: эти дни, что я лежу дома, я чувствую себя в сущности довольно сносно, — во всяком случае галлюцинации не повторяются.

А когда я встану, — я опять увижу Нину Павловну.

3.

Мешканцев встал и увидел Нину Павловну. Они шли вдвоем по темнеющим аллеям парка, среди двух стен тополей, вонзающихся оперенными стрелами в вечеряющее небо. Прямо перед ними, купаясь в холодных провалах звездных пустынь, зажегся уже Орион, торжественно тихий и многоокий. Густели тени фиолетовыми пятнами, буйная зелень стряхивала истому пыльного знойного дня и набухла темной пьяной одурью и ароматами. Из грота по серым камням звонкою каплей, со ступеньки на ступеньку, журчал источник.

Мешканцев шел, слушал, вдыхал всей грудью густой воздух и всем существом ощущал близость девушки. Они говорили о далеких веках юности человечества, когда скованный разум только начинал расправлять крылья, бросая удивленные взгляды-молнии на открывающийся неведомый, таинственный мир.

— Какая прекрасная легенда — этот жаждущий и немогущий насытиться доктор Фауст, — говорила Корсунская: — великий искатель, отказывающийся от вечного блаженства ради того, чтобы знать... знать, какою бы то ни было ценою.

Мешканцев плохо вникал в смысл ее слов и слушал только их музыку; они звенели в унисон с каплей струй и пропитаны были ароматами южной ночи. Потом спросил, отведав больше собственным мыслям, чем фразам девушки.

— А Маргарита?

— О, — измышление тайного советника Веймарского Двора. Я предпочитаю Фауста таким, каков он в старинных легендах и хрониках.

— Измышление Великой Матери Природы, — ответил Мешканцев и вдруг спросил, глядя в упор на собеседницу:

— Неужели вы никогда не испытывали ее зова?

Девушка молчала, и в наступившей темноте не видно было ее лица. Это мучило его, но он не мог уже остановиться и опять, словно с горы разбежался, как давеча, в разговоре о своих работах.

— Нина Павловна, наша встреча с вами — конечно, случайность, которыми полна жизнь, и мне жутко подумать, что наши дороги скрестившись, быть может, уже больше не сойдутся.

— Почему же? — как-то неуверенно спросила Корсунская, слезла касаясь его руки: — можно, будучи разделенными сотнями верст, работать над одним и тем же, и обмениваться мыслями...

— Я не об этом, — и голос Мешканцева задрожал, — я завидую не доктору Фаусту немецкой легенды, а Фаусту тайного советника, господина Гёте...

Девушка отодвинулась вдруг, и голос ее зазвучал чужим и далеким:

— Дмитрий Александрович, неужели и вы о том же? — Было слышно, как хрустят пальцы заломленных рук.

— И я? Но что же делать? Мне кажется, что я всю жизнь ждал этой встречи, искал именно вас...

— Не надо, ради бога, — не надо... Мне было бы так больно. если бы омрачилось то светлое, что связало нас за эти дни...

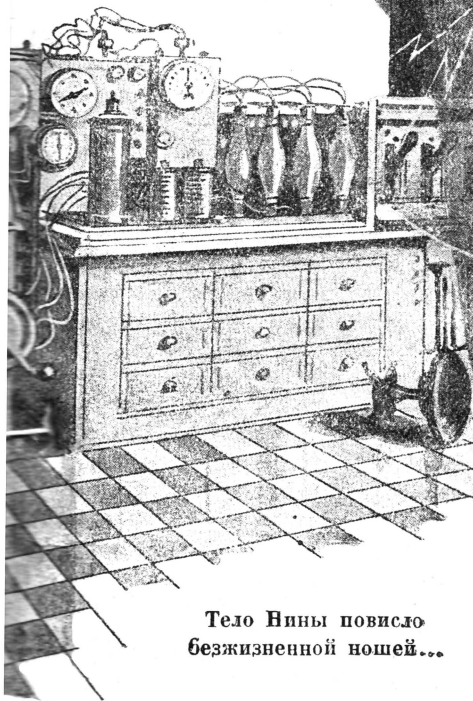


Простите меня, голубчик, но я... не гоюсь в Маргариты. Я не знаю, как вам сказать... Во мне нет струн, которые могли бы отозваться на этот зов... Я—пустая...

— Безлюбая? — повторил машинально Мешканцев когда-то слышанное слово.

— Да, безлюбая... Нельзя служить сразу двум господам. Мой уже выбран раз и на всю жизнь. А относительно вас...

— Не надо, — заговорил теперь Дмитрий Александрович, и папироса его ярко вспыхнула, освещая



Тело Нины повисло
безжизненной ношей...

бледным пятном жестко
сжатые губы: — будем
считать, что этот раз-
говор кончен.

— Вы сердитесь? — спросил из тем-
ноты голос, дрогнувший теплыми
нотами.

— Нет, Нина Павловна, — ответил он угрюмо после некоторого молчания, — оставим это, и пусть все будет, как было.

Возвращались они молча, и Мешканцеву казалось, что пылающий Орион померк в высоте.

Дмитрий Александрович не вернулся к себе, а прошел в лабораторию, где он обычно работал вечерами, когда кончалась заводская кутерьма.

— Она права, — думал он, пуская в ход бездействовавшие приборы, — остается одно: работать, работать без передышки!

Два дня прошли спокойно. С Корсунскою он виделся на заводе, все время на людях, и не искал встречи наедине. Она была все такая же сосредоточенная, углубленная, и только иногда в глубине глаз ее он читал как-будто немой вопрос.

На третий день вечером странные явления возобновились. Опять лампы сияли цветными кругами в сероватом тумане. Опять метался Мешканцев по лаборатории, чувствуя у себя за спиною, то тут, то там, в темнеющих углах, или совсем рядом, притаившееся нечто, невидимого посетителя, наполняющего своим присутствием просторную комнату.

Стиснув зубы, он сидел на своем месте, у аппарата, и продолжал работу, решив пересилить свои нервы и закончить начатую серию опытов. Но это становилось все труднее. Цветные круги перед глазами врывались в поле зрения и путали наблюдение. Мешканцев сидел спиной к открытой двери в соседнюю комнату и вдруг поймал себя на мысли, что ему страшно оглянуться назад, в ее зияющую пустоту, как бывало в далеком детстве, когда он читается жутких книг.

Мешканцев через силу улыбнулся своим ребяческим страхам и быстро обернулся. Все было пусто, но эта пустота показалась еще страшнее, чем если бы он увидел самый ужасный образ, созданный фантазией. Мертвая тишина давила мозг тяжелым грузом.

Вдруг он почувствовал струю ледяного ветра, охватившую его с головы до ног. Он вскопился в испуге и остался

стоять у стола, остановив широко раскрытые глаза на темном углу лаборатории. Оттуда бесшумно выплыла туманная темная фигура, почти вдвое выше человеческого роста. Тихо колеблясь, будто под дуновением ветра, и слегка меняя свои очертания, она медленно двигалась, пересекая комнату по диагонали и направляясь к столу, у которого стоял Мешканцев.

Она была похожа на пыльный вихрь, поднятый летом знойным ветром на желтеющих пожнях, но временами вершина ее заострялась, и тогда казалось, что это огромного роста темный монах в рясе и клобуке несется по воздуху, не касаясь пола.

Мешканцев не мог двинуться с места и в диком ужасе следил за движениями странной фигуры. Наконец, когда она была от него в двух-трех шагах, и его охватило нестерпимым холодом, — он дико вскрикнул и бросился в сторону. Темный вихрь вырос до потолка, качнулся вперед и, дойдя до противоположной стены, исчез так же беззвучно, как и появился.

Мешканцев выбежал вон.

4.

7-е июля.

В сущности, после всего, что случилось вчера вечером, благоразумие требует оставить работу и месяца на два уехать отсюда совсем. Раз дело дошло до каких-то видений, от которых я шарахаюсь в ужасе и бегу, как ребенок от почудившейся ему чертовщины, — значит, дело дрянь. Так долго и совсем свихнуться. Надо основательно подвинтить гайки.

А с другой стороны именно сейчас немисливо бросить дело, не доведя до конца этих исследований, которым, может быть, суждено открыть новую эру в истории науки. По правде говоря, я просто не в силах оторваться от этой работы, как одержимый, как пьяница от своего яда.

Я хочу сделать еще попытку. Продолжать эти исследования одному в таких условиях, — значит, рисковать попасть в желтый дом. Что, если попробовать вести их вдвоем? Быть может, присутствие другого человека

даст некоторую точку опоры, рассеет этот дикий мираж? Ведь, днем, когда я бываю на людях, я не испытываю ничего подобного.

И человеком этим может быть только Нина Павловна.

8-е июля.

Разговор был коротким. На предложение Корсунской принять участие в моих работах, она несколько времени молча в упор глядела на меня; я храбро выдержал испытание и не опустил глаз. Это был немой поединок. Затем она протянула мне руку.

— Благодарю, Дмитрий Александрович. Я сама хотела просить вас об этом, но не решалась после...

— После того разговора? Но ведь мы условились, что ничего не было...

Она слегка покраснела и нахмурилась. Во всяком случае,—договор заключен.

10-е июля.

То, что случилось сегодня вечером, выходит совершенно из границ вероятного. Я стою перед загадкой, к которой не вижу ключа.

Довольно поздно вечером мы пришли с Ниной Павловной в лабораторию, где приборы работали автоматически весь день. Сразу же знакомые ощущения нахлынули на меня. Надежды мои не сбылись: присутствие Корсунской не меняло дела. Но что удивительнее всего, это то, что и Нина Павловна сразу же стала проявлять признаки тревоги и беспокойства. Она поминутно оглядывалась назад, будто ища кого-то, кто стоял у нее за спиной, вздрагивала, хмурилась, и я ловил на себе временами ее растерянный, испуганный взгляд. Я думал, что просто ей передается мое напряженное нервное состояние, хотя я изо всех сил старался его не обнаруживать.

Но едва я начал подробное объяснение установки приборов, как снова, по давшему, потянуло смертельным холодом. Корсунская задрожала с головы до ног и оглянулась в немом изумлении. И опять в дальнем углу лаборатории встала беззвучно огромная темная фигура и, медленно рас-

качиваясь, двинулась в нашу сторону. Следом за нею там же родился второй силуэт, за ним еще и еще... И в гробовом молчании двигалась мимо нас воздушная процессия призраков, будто вереница черных монахов, в суровом безмолвии шествующих в какой-то погребальной процессии. Фиолетовые отблески вспыхивали в их вершинах, будто металы они огненные взгляды из-под насупленных капюшонов. Стояла мертвая тишина...

Я сидел у стола, не отводя глаз от этой картины. Корсунская, бледная, как мертвец, дрожа всем телом, прижалась к стене, провожая глазами мрачное шествие. Слышно было отчетливо, как в немой, потрясающей тишине падали одно за другим удары маятника. Вдруг резко треснуло стекло в приборе, который задела в своем движении одна из темных фигур, и осколки его со звоном полетели на пол. Вслед за тем раздался нечеловеческий крик, — объятая ужасом девушка бросилась ко мне и забилась в истерической дрожи. Схватив ее на руки, я хотел выбежать в дверь, но вереница черных вихрей пересекала мне путь, и я не мог заставить себя к ним приблизиться. Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы через минуту или две темные фигуры не потеряли своих очертаний. Они заволаговались, будто раздуваемые невидимым ветром, и, не останавливаясь в своем немом беге, вдруг стали серыми и прозрачными, как вечерний туман над рекой, и, наконец, беззвучно растаяли, оставив после себя лишь чуть уловимый странный запах, да ощущение мертвящего холода. И в комнате стояла по прежнему угрюмая тишина.

Я держал на руках неподвижное тело девушки, весь во власти противоречивых чувств. Еще не улегся в душе только что пережитый ужас и колотился глухими ударами замиравшего сердца, еще мелкая, зябкая дрожь трясла меня с головы до ног, а вместе с тем хотелось, чтобы не кончались эти жуткие минуты. Казалось, что без конца готов я стоять вот так, среди пустой комнаты, прижимая к себе вздрагивающее теплое тело. Но это длилось недолго. Корсунская от-

крыла глаза и оглянулась с изумлением. Я оставил ее и в невольном замешательстве отвернулся, делая вид, что рассматриваю разбитый прибор. Несколько мгновений она, видимо, собиралась с мыслями; потом я услышал неуверенный, дрожащий голос:

— Простите меня, Дмитрий Александрович.—Я, вероятно, вас напугала... Я сама не знаю, что со мной случилось... Какая-то дикая игра воображения, странная галлюцинация...

И тут мозг мой пронзил мгновенная мысль: но ведь, значит, это именно не была галлюцинация... Значит, мы оба видели какую-то дикую, загадочную действительность, — и я почувствовал, что по спине ползут мурашки, и душу мутит снова звериный, непреодолимый страх.

Но я ничего не сказал Нине Павловне и, успокоив ее несколькими словами, вышел проводить домой. Стояла темная, звездная ночь. Орион на Востоке лучился и мерцал далекими огнями; и кругом—брызги света, мириады миров в безднах пространства, в торжественной тишине, двигались железными кругами.

Что же это было? Все-таки галлюцинация? Станный мираж, одинаковым образом отпечатлевшийся в сознании двух людей? Как объяснить такое совпадение? И потом: почему разлетелся в осколки прибор, задетый шестви́ем этих таинственных теней?

Но тогда что же? Действительность, похожая на бред больного мозга? Факты, которые можно принять за сон и видение? Призраки и тени, словно вынырнувшие из седых легенд и сказаний, и разгуливающие среди колб и реторт лаборатории XX века?

Так или иначе в жизнь ворвалось что-то таинственное и стоит передо мною каменным сфинксом, требуя разгадки.

12-е июля.

Несколько дней прошло спокойно. Аппаратура моя после знаменательного вечера, когда разлетелся взрыв безги один из главных ее приборов, все еще бездействует; дня через два, вероятно, можно будет снова пустить

ее в ход. Но, откровенно говоря, интерес моей работы в значительной степени заслонен событиями этих дней и бесплодными попытками их объяснения.

Нина Павловна ходила дня два необыкновенно подавленная и угрюмая:—случай в лаборатории произвел на нее огромное впечатление. Она, повидимому, была убеждена, что стала жертвою игры воображения. Я угадывал ее тревогу. Как-то на днях она вскользь упомянула о тяжелой наследственности в смысле психических заболеваний. И уже тогда мне послышалось в ее словах смутное беспокойство. Все, что случилось в этот вечер, она могла принять за внезапное проявление этого страшного наследства. Мне стало больно мучить ее дольше. И, кроме того, у меня выросло к ней какое-то новое чувство мягкой нежности.

После того вечера, когда проснулась в ней слабая, испуганная женщина, и эта минута бросила ее инстинктивно ко мне, под защиту мужской руки, — я вижу в ней другого человека, и воспоминание о коротких мгновениях, когда я держал в руках прижавшееся ко мне в поисках защиты трепетное тело, кружит голову.

Вчера я рассказал ей обо всем: о явлениях, бывших до этого вечера, о собственных тревогах и странных оптических явлениях. Корсунская резко отодвинулась от меня, и недобрыми нотками зазвенел ее голос:

— И вы меня об этом не предупредили?

— О чем, Нина Павловна? Ведь я сам был убежден, что все это только игра больных нервов, кошмар, бред,— что хотите, только не осязаемый факт, о котором можно было бы предупреждать.

Несколько минут длилось молчание. Потом уже другим тоном она спросила:

— Но что же это было в таком случае?

Я пожал плечами.

— По совести говоря, я сам ничего не понимаю... Явь? Сон? Обойудный гипноз и самовнушение или ряд новых фактов, новый мир явлений,

ожидающий своего Эйнштейна? Кто знает?

Глаза моей собеседницы загорелись живым огнем. Мне почудилось, что в них зажглось лихорадочное любопытство.

— Мы будем работать над этим? — спросила она, протягивая мне руку. — Мы раскроем эту тайну.

— А вы не боитесь? — ответил я вопросом, задерживая на секунду ее теплые пальцы.

— Но ведь мы будем вместе...

— Вы—маленькая храбрая женщина,—сказал я, вложив в свои слова всю нежность, которая переполняла душу.

Так подтвержден был наш договор.

5.

В течение трех дней работы в лаборатории протекали спокойно. Была восстановлена поврежденная аппаратура, и вновь начали сдвигаться и двоиться линии в спектро스코пе, но таинственные явления не повторялись. Мешканцев начинал склоняться к мысли, что все случившееся надо было объяснить странной одновременной оптической иллюзией, своеобразным фактом обоюдного гипноза.

На четвертый день к ненормальностям в линиях спектра присоединились новые излучения, сопровождающие радиоактивные процессы, энергия которых возросла сразу во много раз.

И в тот же вечер, когда ветер снова шершавою лапой царапал окна стекл, а вдали глухо шумело море,— в комнате притаился невидимый кто-то, ходил по углам и, казалось, дышал за спиною. А к полуночи, когда Мешканцев хотел уже кончать работу,—все в том же дальнем углу одна за другою встали безмолвные черные тени и понеслись по воздуху, пронизанные фиолетовыми молниями. Холодом нестерпимым веяло от них, а на пол, с еле слышным звоном, падали голубоватые осколки, будто мелкие кристаллики прозрачного льда.

И все же, несмотря на холод и непреодолимый страх, который против воли сковывал душу, Мешканцев и Корсунская продолжали наблюде-

ния, лихорадочно отмечая все происходящее. Но это оказалось возможным не дольше нескольких минут: стужа стала совершенно непереносимой; дыхание густым паром вылетало изо рта; все тело, особенно пальцы, совершенно заоченели. Мешканцев схватил девушку за руку и увлек ее к двери, путь к которой был открыт. В то же время снова со звоном разлетелась в осколки стеклянная трубка с разреженным газом. И еще не успел Дмитрий Александрович со своей спутницей выйти из комнаты, как черные вихри померкли, осели туманным облаком и рассеялись, как дым.

Мешканцев бросился к тому месту, где только что двигалась вереница таинственных фигур, и нагнулся, разглядывая разбитый аппарат и полосу пола, над которой они только что пронеслись.

— Нина Павловна, — закричал он дрожащим голосом, — смотрите, это замерзший воздух!

Действительно, голубоватые кристаллы на полу быстро таяли, обростая снежной пеной, и обращались в легкое облачко, расходившееся в холодном воздухе.

При дальнейшем исследовании Корсунская обнаружила в том месте, где черная тень задела стеклянную часть прибора, небольшую кучку красноватого пепла, необычайно легкого и в темноте фосфоресцирующего зеленоватым светом. Эта шепотка странного порошка была тщательно собрана.

На следующий день было вновь приступлено к приведению в порядок поврежденных приборов и к изменению схемы их установки с тем, чтобы они не лежали на пути движения загадочных вихрей, каждый раз пересекавших лабораторию по одной и той же линии. Вместе с тем Мешканцев занялся исследованием пепла, собранного на полу. Результат оказался изумительным: и по линиям спектра, и по химическим реакциям, вещество оказалось совершенно неизвестным, не имеющим себе подобных среди земных элементов.

Сообщая Корсунской результаты анализов, Мешканцев сказал, пожимая плечами:

— Знаете, Нина Павловна, я сейчас положительно не уверен, что не сплю и что вас и всю эту таинственную абракадабру не вижу в сонной грезе. Потому что, если это не сон, то—нечто гораздо худшее: чертовщина, чудо,—чорт знает что!..

Девушка подняла голову и, пристально глядя ему в глаза, сказала медленно и раздельно:

— Дмитрий Александрович, а ведь это, пожалуй, четвертое измерение... Мы прикоснулись в этой лаборатории к другому, соседнему миру.

— Вы это серьезно? О другом мире... — переспросил Мешканцев. — Загробное существование? Потусторонние таинства?.. — Он не находил слов.

— Вы напрасно иронизируете, — спокойно возразила девушка: — я говорю, конечно, не о загробных мирах, а о вполне реальной вселенной, расположенной параллельно нашему миру...

— Параллельно нашему миру?

— Ну да! Почему это вас удивляет? Неужели вы, работая над этими идеями, не допускали такой возможности? Если четвертое измерение существует, как реальная действительность, то почему бы в этом истинном четырехмерном пространстве не существовать еще одной, двум, десяти, тысячи вселенных, расположенных параллельно друг другу, как листы в книге.

— Ну, и что же?

— Ну, и если вам удастся, как вы полагали, изогнуть наше пространство по этому недоступному до сих пор направлению так, как это имеет место на солнце и других больших массах, то весьма естественно, что мы могли соприкоснуться с этим соседним миром, если он расположен близко от нашей вселенной.

Мешканцев сидел, совершенно растерянный и огушенный.

— И, значит, все, что мы здесь видели...

— Есть след каких-то явлений и процессов, происходящих в этом параллельном нам мире.

— А нервное состояние и оптические феномены, которые я приписывал переутомлению...

— Не более, как реакция организма на необычайное состояние пространства.

Мешканцев вскочил, как подброшенный электрическим ударом.

— Нина Павловна! Голубчик! Родная моя! Но ведь это именно так и есть! Ведь иначе и не может быть! Как же я-то, старый дурак, не догадался?

Корсунская сидела молча, улыбаясь одними глазами, видимо наслаждаясь произведенным впечатлением.

15-е июля.

Я до сих пор еще не могу притти в себя. Разгадка найдена, но мрак от этого не стал яснее. Мы соприкоснулись с другим миром. Мы заглянули в такие провалы мироздания, перед которыми пространство нашей вселенной—забава для детей. И вместе с тем эта тайна оказалась тут, рядом, на расстоянии протянутой руки, быть может,—еще ближе. Но до сих пор это было просто вне поля нашего сознания. И вот оно здесь, в этой обычной на вид комнате, с ее проводами, рычагами, ретортами, колбами,—со всем тяжеловесным и сложным ассортиментом современной науки. Но что такое это «оно»? Какие законы им управляют? Тени каких явлений пронесли перед нами в эти дни, пахнув на нас холодом нездешних пространств?

Конечно, и там существует свой круг железной необходимости, и там следствия цепляются за причины в неразрывной цепи незблемых зависимостей... Но каких? Что отразилось в темных фигурах, пронесившихся мимо нас? Обломки мертвых миров, увлеченных неведомой силой, или рождение новых среди неустанного бега? Или, может быть, тени живых, разумных существ невиданных форм и очертаний промелькнули, творя какую-то свою удивительную историю? Быть может, отголоски гигантских социальных потрясений, титанической борьбы, невообразимых разрушений и катастроф? Или просто беглые тени обычной, по своему где-то там будничной и серенькой жизни? Или, наконец, события невиданные и не-

вообразимые для нашей вселенной, закономерные в своем кругу, но недоступные сознанию существ, рожденных под другими небесами?

Я вспоминаю молчаливую вереницу черных призраков, и в душу закрадывается страх перед неизвестностью.

Что вы такое, мрачные вестники немого мира?

6.

Работы по приведению в порядок аппаратуры продолжались, но Мешканцев занимался этим вяло и неохотно. Энтузиазм и лихорадочная деятельность Корсунской раздражали и пугали его. Сознание близости страшной пропасти, в которую он заглянул, космического хаоса, в котором трепетало огромно-таинственное и неизмеримое, сковывало душу ужасом перед мраком грозной тайны. Он готов был бросить всю работу.

А рядом была эта удивительная девушка, в глазах которой он видел неугасающий энтузиазм, увлечение работой, лихорадочную жажду неутомого мозга.

Однажды Мешканцев решился все же заговорить с нею о том, что его мучило.

— Нина Павловна, имеем ли мы право продолжать нашу работу? Ведь страшно подумать, чем может грозить это неизвестное.

Девушка остановила на нем широко раскрытые глаза.

— Как? Прекратить работу сейчас, когда мы приоткрыли уголок такой тайны?

— Вот именно потому, что это тайна... Подумайте, отблеском каких неведомых и грозных явлений могут быть эти странные тени. С какими пространствами мы соприкоснулись? Ведь воздух у нас падал мгновенно ледяными кристаллами. Эти температуры, быть может, ниже тех, которые мы здесь на земле вообще считаем возможными... Это смерть не только всего живого, но смерть самой материи, застывающей в неподвижности.

Девушка молча качала головой.

— Ведь тут простор самым невероятным предположениям...

— Да, да, — подхватила она, — и знаете ли, что мне приходит в голову. До сих пор не решен вопрос об источнике пополнения солнечной энергии... Быть может, она течет к нам именно из этого соседнего мира, если наша вселенная там сильно изогнута по четвертому измерению и соприкасается с ним так, как это случилось здесь у нас.

— Быть может, Нина Павловна, об этом можно много говорить и спорить... Но если так, — тем хуже. Можете ли вы предугадать, не хлынут ли вдруг через открытую нами дыру в наш мир грандиозные потоки какой-нибудь неведомой силы, и чем они могут грозить нам и, быть может, всему человечеству?

Корсунская упрямо качала головой. Глаза ее потемнели, голос зазвенел напряженно.

— Бросить работу? Остановиться в самом начале пути? Это немыслимо! Вы шутите, конечно. Работать осторожно, шаг за шагом двигаясь вперед, — я понимаю... Но отказаться от нее? Сейчас? Это — невозможно, нелепо, об этом думать нельзя! Если вы это сделаете... Я не знаю... Я завтра же уеду отсюда, я все брошу.

Мешканцев сидел молча, сгорбившись, и глядя на девушку исподлобья. Да, она, конечно, уедет. И тогда что же? Без нее, без дела, которому отдано пять лет упорного труда... это значило потерять вообще смысл и цель жизни.

20-е июля.

Работа по приведению в порядок аппаратуры почти закончена. Еще день-два, и можно будет опять начать опыты. Но я не знаю, хватит ли у меня решимости в последний миг включить ток и привести в действие эту страшную машину.

21-е июля.

Сегодня я оказался невольным весьма нелюбезным хозяином, настолько нелюбезным, что только сумбур событий и впечатлений, закруживший меня, может служить оправданием. В сущности, я несомненно сейчас не могу утверждать, что нахожусь в здра-

вом уме и твердой памяти... Вчера я дошел до того, что, выйдя вечером освежиться из дому, побрел бесцельно по городу и, в конце-концов, очутился перед окнами дома, где живет Нина Павловна, и, прячась в темном углу, через улицу, высматривал, не появится ли в освещенном окне ее силуэт.

Ну, Дмитрий Александрович, кажется, ты допрыгался. Гимназистом, в давние годы, ты тоже проделывал подобные штуки, и то сгорел бы со стыда, если бы кто-либо узнал о твоих подвигах. А ведь сейчас у тебя половина головы седая. Да... о чем это я хотел сказать? Ага, вспомнил: о своей нелюбезности в роли хозяина...

Сюда приехал из Ленинграда мой давний приятель, товарищ по университету, ныне профессор, член Академии, член какой-то коллегии и еще чего-то, милейший человек, немного шумный и суетливый. Вначале я очень обрадовался его приезду, словно струей свежего воздуха пахнуло из раскрытого окна в душную комнату. Но уже через час меня охватило сложное чувство беспокойства, зависти, угрюмой досады. Он засыпал меня ворохом новостей и вопросов.

— Ты читал новую статью Освальда в Zeitschrift относительно перспектив фиксации азота?

— Слышал о новой книжке, которую выпустил Валентинер о квантовой теории?

— А знаешь, что Молохов получает кафедру в Самаре?

Я молчал. Я ничего не слышал, ничего не читал, ничего не знал, кроме своего маленького уголка. Я был обитателем пустынного острова. Кедров внимательно посмотрел на меня и сказал, вдруг понизив голос:

— Да что ты, батенька, тут как в берлоге закопался? Да и вид у тебя... гм, гм, довольно похоронный. Ты что, болен, переутомился, или, может быть, влюблен на старости лет? — И он подмигнул в сторону Нины Павловны, сидевшей над какими-то вычислениями за дальним столом. И тут меня прорвало. Я за-

пальчиво заявил, что совершенно здоров, что мои личные дела нисколько не касаются, и вообще наговорил столько резких и диких вещей, что сейчас без стыда не могу об этом вспомнить. Бедняга Кедров завял, просил извинения, начал говорить о каких-то пустяках и при первой возможности исчез.

Окно захлопнулось, и я опять в душевной комнате.

22-е июля.

Пришла телеграмма из краевого центра. Меня вызывают немедленно для срочного доклада о ходе работ. Думаю, что дело не в этом. Там пронохали о моих опытах. Я давно этого боялся. Надо ехать, иначе может выйти крупная неприятность. Но я безумно боюсь оставить одну Нину Павловну, боюсь каких-то новых событий,—сам не знаю, наконец, чего.

Аппараты сегодня установлены, и машина начала работать.

7.

Мешканцев долго колебался, прежде чем решиться на поездку; смутная тревога сковывала волю. Накануне отъезда он, как обычно, работал в лаборатории с Ниной Павловной. Приборы действовали исправно, но ничего особенного не наблюдалось. — Очевидно, результат их работы нарастал с течением времени, а не был мгновенным. Дмитрий Александрович сообщил девушке о предстоящем путешествии и просил быть педантически осторожной.

— А лучше бы на это время остановить работу, — сказал он, наконец, нерешительно.

— Не доверяете знанию и опытности бестолковой студентки? — засмеялась Корсунская.

— Нина Павловна, вы знаете о чем я говорю... Мне грустно, что вы хотите отделаться шуткой...

— Ну, простите, — она примирительно протянула руку: обещаю быть умницей и не идти дальше того, что мы делали вместе.

А в глазах ее зажглись огоньки, словно у школьника, вырвавшегося из-под опеки взрослых. Но Мешкан-

цев ничего не заметил. Прощаясь перед отъездом на пристани, он долго держал пальцы Корсунской в своей руке и неожиданно для самого себя поднес их к губам. Девушка слегка покраснела и выдернула руку, а он, не ожидая ее слов, отвернулся, сгорбившись, и зашагал по дороге к морю. На повороте он оглянулся: в сумерках белела еще неподвижная стройная фигура на фоне темной зелени сада. Вдали нетерпеливо ревел пароход.

Путешествие было для Мешканцева невыносимой пыткой. Тревога росла с каждым часом. Ночью, среди мучительной дремы, он вскакивал несколько раз, обливаясь внезапной испариной.

Утро принесло некоторое облегчение, а попав к полудню в Окружной Отдел, он в суетлоке нужных и ненужных дел забыл на время о своих страхах.

Он оказался прав в своих предположениях: здесь кое-что подозревали о его работах, веденных под сурдинку, и пришлось изворачиваться, чтобы выгородить себя и обеспечить возможность их продолжения. На следующий день он принял участие в заседании технической комиссии. Надо было пробыть здесь еще суток двое. Но уже к вечеру его охватило вновь такое беспокойство, что он не находил себе места. Утро он встретил совершенно больным человеком. В 10 часов, вместо того, чтобы идти на очередное заседание комиссии, он бросился на пристань и взял билет на отходящий пароход. Десятичасовой переезд показался ему бесконечным; он бежал по верхней палубе, как одержимый. Глядя на восток, он впиался руками в поручни, потрясал их лихорадочным движением и снова метался взад и вперед. Когда в темноте ночного неба зажглись над морем огни города, Мешканцев готов был броситься головою вниз в черную массу воды: ему все казалось, что пароход еле движется.

Наконец, пыхти машиною, разрывая ревом ночную тишину и гремя депиями, он подошел к берегу.

Мешканцев еле дождался, пока перекинули сходни, и бегом бросился

к заводу. Уже издали ему показалось, что в лаборатории что-то неладно. В двух окнах средней комнаты горел свет, но он падал на камни мостовой странным багровым отблеском; одно из стекол было выбито, и только через него прорывался в ночную тьму пучек белого света.

Мешканцев остановился, с трудом переводя дыхание, у двери; она оказалась запертою изнутри; он постучал, — ему ответил слабый стон и снова наступила томительная тишина. Он начал стучать кулаками. — еще раз послышался стон, но дверь не отворяли. Вне себя Мешканцев налег на нее всем телом; крючок раскопчился, — и он ворвался в комнату.

Он не сразу узнал привычную обстановку лаборатории. Пол, стены, окна, все предметы в комнате были покрыты красноватым налетом знакомого уже пепла. Казалось, будто все вокруг обрызгано кровью. В этом зловещем тумане Мешканцев не сразу увидел, откуда неслись поразившие его стоны. И только когда глаз привык к странному освещению, он различил в углу, около выключенного рубильника, скорченную у стены фигуру. Одной рукой она держалась за стену, ощупывая ее жестом слепого человека, в другой сжимала странной формы предмет, похожий на осколок зеленоватого камня. Скорей по голосу, чем по чертам искаженного страданием лица, он узнал Корсунскую в этом жалком комочке, покрытом слоем красной пыли. Мешканцев бросился к ней и схватил на руки вздрагивающее тело.

— Нина, Нина, — вырвалось у него стоном.

Невидящие глаза медленно повернулись в его сторону, но в них не отразилось ничего. Губы задрожали, и снова тихий стон сорвался с них.

— Нина, — рыдал Мешканцев, прижимая к себе девушку. — Что с вами? Что здесь случилось?

Видно было, как глаза опять искали безуспешно, поворачивая во все стороны слепые зрачки, и как с трудом разжались запекшиеся губы.

— Это вы, Дмитрий... Я вас не вижу... Тьма вокруг...

Она с трудом перевела дыхание, потом вдруг вся затрепетала и на лице изобразился дикий страх.

— О, если бы вы видели... Это такой ужас... Бегите отсюда. Они опять придут...

— Кто придет, Нина? Что с вами?

— Бегите, уничтожьте все... Она задыхалась и хватала руками воздух.

Мешканцев оглянулся. Ему показалось, что в красноватой полутьме копошатся странные тени.

Сжимая в объятиях девушку, он направился к двери, подгоняемый страхом, но едва сделал он несколько шагов, как судорога пробежала по телу, лежавшему у него на руках, и оно повисло вдруг безжизненной ношей. Он остановился, охваченный ужасом, и прислушался. Дыхания не было, сердце не билось.

Мешканцев обвел лабораторию дикими глазами. Он медленно положил холодеющее тело на стол, и взгляд его упал на предмет, который сжимала безжизненная рука. Осколок странного вида был весь испещрен знаками и черточками, не то не едомыми письменами, не то следами работы вековых стихийных процессов. Он попробовал вынуть камень из мертвой руки, но коченеющие пальцы его не отпускали. Тогда он тихо поцеловал прекрасный, уже холодный лоб, и сел, сгорбившись, в кресло, окруженный гнетущей тишиной.

Мысли неслись скачками, кружились, путались и кувыркались, как канатные плясуны в хороводе смерти. Трудно было уследить за их лихорадочной сменой.

Одно было ясно: сегодня кончилось все,—и работа, и любовь, и с ними самая жизнь.

Человечество еще не имело права приподнимать эту завесу. Вещи имеют свою логику. Когда-нибудь, через

сотню лет, когда человек будет твердо стоять на ногах, когда разум его развернется в неведомом донныне направлении, тогда он смело откроет эту дверь, в которую случайно заглянули раньше времени двое земнородных,—и войдет в новый мир твердой поступью. А сейчас эта тайна была тем же, как если бы древнему человеку, едва научившемуся обращаться с огнем, попали в руки огромные запасы пороха.

Сколько жертв таких преждевременных дерзаний принесло человечество за тысячелетия своей истории. А сейчас такой жертвой лежала здесь прекрасная девушка, заглянувшая тула, куда не проникал еще взор рожденных на земле.

Но больше этого не будет. Он, Мешканцев, этого не допустит. Он схватил тяжелый рычаг от насоса и, переходя от прибора к прибору, с какой-то сладострастной радостью ломал, бил и коверкал все, что подавалось силе рук человеческих. Потом сел около стола и застыл, как изваяние.

Когда утром, обеспокоенные тишиной в лаборатории и странным видом сквозь разбитое стекло, пришли люди, они увидели совершенно седого человека, сидевшего сгорбившись в кресле, среди хаоса обломков и осколков аппаратуры, покрытой слоем багрового пепла.

На вопросы вошедших он засмеялся и сказал, тайносно приложив палец к губам:

— Друзья, я только вам сообщу тайну: они скоро придут. Они—хитрые, они вернутся... Это она мне сказала...—и он указал на стол, где лежал труп девушки, сжимая в руке осколок камня, покрытый загадочными знаками.



Аким и Мишка



РАССКАЗ, ПРЕМИРОВАННЫЙ НА ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ „МИРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ“
1927 ГОДА.

По регистрации **№ 473.**

Девиз: Призыв.

Иллюстрации И. А. ВЛАДИМИРОВА

I.

В самой южной части Байкала, как раз в том месте, где он делает крутую излучину, находятся большое село — Култук.

В недавнюю еще пору жил в Култуке старик-охотник — Аким. Крестьянской работой он не занимался, хозяйства не вел, а жил на готовых харчах у внука Ивана — зажиточного и степенного мужика.

Да и когда было Акиму заниматься хозяйством? Как только спадали снега и сбегали вешние воды, Аким уходил далеко в горы, что широким поясом огибали Култук с юга. Там, в этих горах, Аким проводил целое лето. Только уж к осени, когда на горах выпадали снега, возвращался Аким домой на зимовку.

Один раз вот так же, чуть только просохла земля от вешней воды, оседлал Аким свою саврасую кобылу Машку, перекинул за седло переметные сумы с хлебом и охотничьими припасами, перевесил себе через спину бердану и отправился в родные горы.

Долго ехал Аким. Уж давно миновали поля, уж пропала наезженная дорога, и Аким пробирался едва приметной таежной тропой. Мало кто и проезжал этой тропой, чаще про-

ходили тут дикие звери. Кабаны целым выводком ходили на водопой; тяжело переваливаясь на кривых лапах, пробирался иногда медведь, а то, чутко прядя ушами, осторожно ступал здесь изюбрь.

На второй день пути, уже к вечеру, Аким достиг, наконец, тех заповедных мест, где он каждый год проводил лето. Вот и землянка в полугоре. Она сохранилась нетронутая. Даже палка, которой Аким подпер дверь, уезжая осенью, стояла на прежнем месте.

Аким расседлал лошадь, выбрал из сум все съедобное, и по зарубленной лесине втащил на верх невысокого столба, где был установлен небольшой ящик. Там он сложил всю провизию и прикрыл сверху досками. Это было сделано на тот случай, чтобы лесные большие и малые звери не испортили запасов. С лошади Аким снял даже узду и так пустил ее на волю. Он знал, что в этом глухом краю она никуда не уйдет далеко от человеческого жилья. Управившись, Аким сел перед входом в землянку, закурил трубку и огляделся. Хорошо было кругом. Землянка находилась в полугоре. Внизу, под ногами Акима, чуть заметно змеялся ключ, дальше — раскинулась широкая долина, где в летнюю пору подымалась высокая сочная трава, которая часто достигала по брюхо лошади. С противоположной стороны долины неожиданно вырастала из земли высокая гора.

В нижней своей части она густо была покрыта лесом: елью, лиственницей и кедром. Туда часто хаживал Аким в летнюю пору за черникой и голубикой, а попозже — за брусникой и клюквой. Немного выше — ель и лиственница исчезали, и там рос только кедровник. Еще выше этот кедровник становился все ниже, все приземистее. От постоянных ветров, что гуляли по предгорью, он уже не тянулся к солнцу, а стлался по земле зеленым, путаным ковром. Еще выше — исчезал и этот ползучий кедровник, — там только местами попадались маленькие островки зелени, которая ютилась в ямках и расщелинах горы. Желтели кое-где рододендроны, приятно перемешанные с альпийской фиалкой. Еще выше исчезали и эти растения. Изредка только по голему камню рос лишайник и мелкий седой мох, похожий на кружево.

Аким перевел взгляд несколько в сторону. В верхней части долины, где она заметно сужалась, переливчато блестела на солнце вода. С той стороны до Акима доносился однообразный, несмолкаемый гул. Аким знал, что там находится большой водопад. Туда он часто хаживал по осени: там, по каменистым россыпям, в изобилии росла облепиха.

Любил так подолгу сидеть Аким, мирно посасывая трубку и наслаждаясь тишиной и спокойствием, разлитыми во круг.

II.

И жил Аким со своей кобылой Машкой среди гор, которые по утрам кутались туманами; среди ущелий, у которых часто не было видно дна, слушая то неумолчный разговор ручейка в тихие ясные дни, то грозное завывание тайги в часы непогоды. Аким не скучал. Часто он уходил вниз по долине промышлять себе пропитание, поднимался в горы и ловил там каменных куропаток, шатался по лесу в поисках первых ягод. Иногда часами лежал где-нибудь на пригорке и смотрел, как над его головой кругами чертили воздух коршуны, высматривая пищу. Незаметно

убегали дни, проходили недели, Аким не считал их.

Однажды он сошелся в дорогу: нужно было спуститься вниз по долине, где росла Сereза. Там Аким добывал себе чагу, которая заменяла ему чай. Оседлал свою верную Машку, пинер, по обыкновению, палочкой дверь в землянку и пошелся потихоньку по знакомой тропинке. Было раннее утро. Солнце только встало. В долине еще лежали глубокие тени, а вершины гор уже горели алыми огнями. Аким опустил поводья, — лошадь сама выбирала дорогу, — достал неразлучную трубку и стал закуривать.

Вдруг какой-то необычайный звук привлек его внимание. Аким придержал лошадь, поднял голову, осмотрелся, прислушался, но звук замер и больше не повторялся. Только хотел Аким тронуть лошадь, опять что-то загрохотало. Аким вновь насторожился, даже трубку из рта вынул, внимательно на этот раз посмотрел в ту сторону, откуда шел звук, и увидел, что с горы, в нескольких сотнях саженей от того места, где находился Аким, катился по крутому склону горы огромный камень. По дороге он увлекал за собой другие встречные камни, и все они с грохотом стремительно катились вниз. Аким чуть ухмыльнулся в бороду: он знал причину.

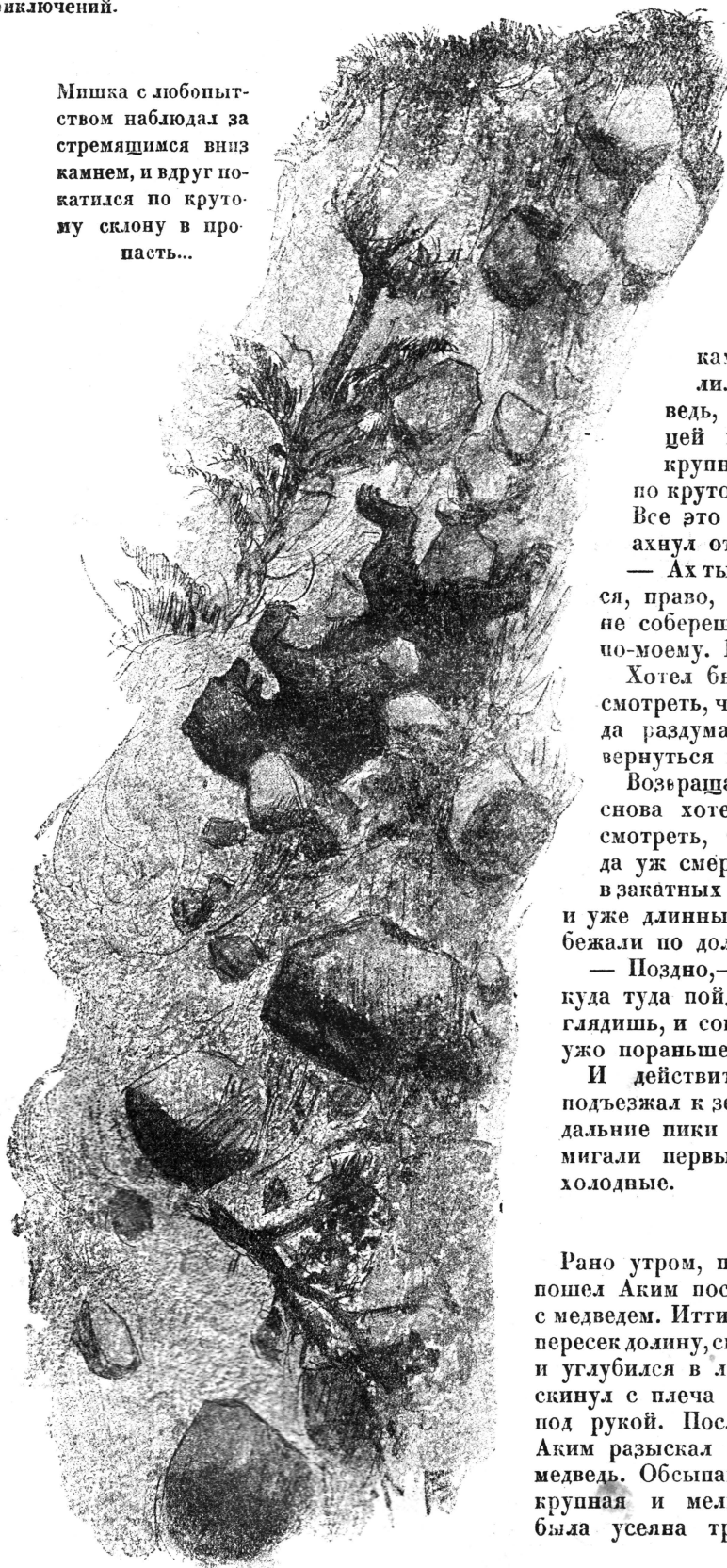
— Ишь, волк тебя заешь, — проворчал он, — опять балуешь. Ни свет, ни зоря, а ты уже опять за старое. Смотри, Мишка, не доведет эта игра тебя до добра.

Аким поднял голову и пошарил глазами по вершине скалы, откуда в это время сорвался новый камень.

— Ишь ты, озорник, — снова проворчал Аким.

На вершине скалы он увидел медведя. Медведь стоял на самом краю пропасти, захватившись лапой за одинокую корявую лиственницу; другой лапой он осторожно подкатывал к обрыву огромный камень в несколько пудов весом. Когда камень достиг края пропасти и сначала, с трудом переваливаясь, покатился вниз, Мишка перегнулся над самой

Мишка с любопытством наблюдал за стремящимся вниз камнем, и вдруг покатился по крутому склону в пропасть...



пропастью и с любопытством стал наблюдать за стремящимся вниз камнем. Вдруг произошло что-то неожиданное. Дерево сильно накренилось, корни, едва зацепившиеся за каменистую почву, отделились от земли,—и медведь, вместе с лиственными и ма сой мелкой и крупной гальки, покатился по крутому склону в пропасть. Все это видел Аким. Он даже ахнул от неожиданности.

— Ах ты, едрена палка! Убьется, право, убьется! И косточек не соберешь. Вот оно и вышло по-моему. Вот и дограл!

Хотел было Аким пойти посмотреть, что случилось с беднягой, да раздумал: хотелось засветло вернуться в землянку.

Возвращаясь к вечеру домой, снова хотел пройти Аким посмотреть, там ли еще медведь, да уж смеркалось. Уже заацели в закатных лучах дальние голцы и уже длинные тени торопливо побежали по долине.

— Поздно,—подумал Аким,—покуда туда пойдешь, да обратно, ан, глядишь, и совсем стемнеет. Схожу уж пораньше утречком.

И действительно, когда Аким подъезжал к землянке, уже погасли дальние пики вершин и в небе замигали первые звезды, далекие и холодные.

III.

Рано утром, пожимаясь от холода, пошел Аким посмотреть, что случилось с медведем. Итти было недалеко. Аким пересек долину, спустился немного вниз и углубился в лес. На всякий случай скинул с плеча бердану и держал ее под рукой. После недолгих поисков Аким разыскал то место, куда упал медведь. Обсыпанная свежая земля, крупная и мелкая галька, которой была усеяна трава, все указывало,

что медведь упал именно здесь, но самого зверя нигде не было видно.

— Ну, вот и хорошо,—довольно пробормотал Аким,—значит—утек. А коли утек—значит цел остался. Только как он сохранил свои косточки с этой то кручи,—просто даже удивительно.

По обыкновению, не спеша, он вытащил кисет, поковырял сайком в трубке и стал набивать ее табаком. Вдруг взгляд его упал на какое-то темное пятно на камне. Он наклонился, посмотрел внимательно, потрогал это пятно рукой. Несомненно это была кровь. Аким поспешно сунул трубку в карман и, близко наклонившись к земле, принялся внимательно исследовать почву. Зоркий глаз и опыт старого охотника не обманули его. Скоро он нашел второе кровавое пятно, потом еще и еще. Дальше, на остром выступе камня, висело несколько темных волосков; еще дальше—мох был сильно примят. Аким уверенно двинулся по следу, но идти пришлось недолго. Под старым ветвистым кедром, привалившись задом к стволу дерева, лежал медведь. Аким поднял бердану, потянул носом, окинул быстрым взглядом вершины деревьев, бросил мимоветный взгляд на заалевшие вершины гор и стал быстро обходить зверя с подветренной стороны. Теперь медведь лежал головой в сторону Акима и, вероятно, прекрасно видел этого смелого человека в ушастой шапке, который забавным, приседающим шагом, крался к нему. Но медведь не шевелился.

— Вот и задача,—подумал Аким,—ближе подходить—не задрал бы, стрелять тоже нету резона: летняя шкура никуда не годится, опять же и зря убивать божью тварь—тоже нехорошо.

Аким осторожно приблизился еще на несколько шагов, встал за деревом и потихоньку наблюдал за медведем. Медведь не шевелился. Аким подкрался еще ближе и опять встал за дерево, все время не спуская глаз с животного. До медведя оставалось всего десяток саженей; медведь, конечно, слышал приближающегося охотника, но не подавал никаких признаков жизни. Он лежал неподвижно,

положив голову на вытянутые вперед лапы. Глаза его были закрыты.

— Чудеса! — прошептал Аким.— Должно быть подох, бедняга.

Он поднял с земли прошлогоднюю кедровую шишку и бросил ее в сторону медведя. Медведь не шевелился. Аким кашлянул, потом громко крикнул. Медведь оставался без движения.

— Не иначе, как подох,—громко сказал Аким, вышел из-за дерева и сделал несколько осторожных шагов в сторону трупа.

— Да как и не убится. Ведь, такая высота, а крутик-то какой. Пожалуй, попробуй, свались с такого к утика,—в момент дух вышибет... Вот она игра-то... Правильно говорят старики...

Вдруг он неожиданно умолк, глаза его удивленно расширились и привычным, быстрым движением, он приложил к плечу бердану. Медведь медленно открыл глаза, чуть поднял голову и глухо заворчал. Некоторое время зверь и человек смотрели в глаза друг другу. Медведь перестал ворчать, снова урониł голову на лапы и закрыл глаза. Аким постоял в нерешительности и опустил ружье. Сделал еще шаг вперед и внимательно посмотрел на зверя. Медведь должно быть был сильно ранен. На голове была видна запекшаяся кровь. На спине и на боках во многих местах шерсть была ободрана и висела клочьями, местами была сорвана вместе с кожей, обнажая кровавые раны. Аким еще раз окинул взглядом медведя и понял, что зверь не может подняться.

— Э-эх, голубчик, — вырвалось у старого охотника невольное сожаление.— Не важны, кажись, твои дела-то, парень. Ну, как теперь, а? Ведь околешь тут с голоду или может отлежишься, а?

Он снова шагнул ближе, но медведь опять приподнял голову, глаза его блеснули. С заметным усилием он поднял лапу и ударил ею по земле.

— Сердишься? — спросил Аким.— Зря сердишься. Я, ведь, тебя же жалю, едрепа палка. Пропадешь ты тут ни за грош, ни за копейку. А все отчего?—А оттого, что баловал...

Медведь глухо застонал.

— Ну, ну, ладно, не буду. Лежи уж тут...

И Аким потихоньку начал пятиться от зверя.

Возвращаясь к себе в землянку, Аким усиленно тянул дым из трубки и ворчал про себя:

— Скажи ня милость, задача какая. Разбился, видно, весь бедняга. Ни встать, ни сесть нету силушки. К тому же ободрался... И морду всю окровянил... Эх ты, незадачливый... Вот оно и выходит правильно, что игра-то до добра не доводит. Ты хотел себе позабавиться, камушки, там, покатать с утесов, а нечистой-то—уж тут как тут. Так и норовит гадость какую выкинуть.

IV.

На утро, попив чаги, Аким собрался пойти в горы. Запасы провизии подходили к концу, а он знал, что в вершине долины, среди гольцов, он может встретить горных козлов. Правда, и то знал Аким, что трудно взять горного козла: животное очень чуткое и живет в неприступных местах. Лазать по горным склонам в его летах уж было утомительно, но, с другой стороны, одним козлом он мог обеспечить себе пропитание на продолжительное время, да и домой на деревню привез бы гостинца.

Совсем уж было собрался Аким в горы, да вспомнился ему этот разбитый медведь.

— Ну зачем я пойду туда к нему?—сам с собой рассуждал Аким,—помощи никакой ему от меня. Опять же погибает божья тварь—жалко. Вот, скажи пожалуйста, задача. Мучается, поди, там один. Ведь тварь бессловесная. Ни тебе сказать, ни тебе показать где болит—не может. Запелужил, скажем для примера, человек. Ну, позвал там бабушку. Даст она какое ни на есть питье, или там припарки положит, а то еще вот бавки... А ведь тут мучается, бедняга, и сказать ничего не может, и не знаешь, чем помочь. И помог бы ему, можно сказать, от всей души, да нечем. Пойду я лучше за козлятиной.

Все едино: суждено медведю—отлежится и встанет, не суждено—поминай как звали.

Успокоившись на этом решении, Аким закинул за плечо бердану, потуже подтянул пояс и решительно зашагал вверх по долине. Но раненый медведь не выходил у него из головы. Дорогой он то и дело оборачивался и украдкой посматривал в ту сторону, где должен был находиться медведь. Вновь продолжал шагать вверх по долине и вновь оборачивался назад. При этом он ворчал и сердился: на себя ли, на медведя ли—вряд ли и сам понимал. Вдруг он остановился и сказал с сердцем:

— А пропади ты пропадом, едрена палка!

Круче надвинул на лоб шапку, сердито сплюнул и, повернув обратно, быстро зашагал к тому месту, где вчера еще лежал раненый медведь.

Когда он приблизился к медведю, гнев его еще не спал.

— А, чтоб тебя разорвало, все еще лежишь здесь! А я из-за тебя охоту, можно сказать, опустил.

Медведь даже не поднял головы на эти злобные слова, даже не заворчал, как вчера. Он только приоткрыл глаза и с упрёком посмотрел на Акима.

— Ты вот ругаешься тут,—казалось, хотел сказать этот взгляд,—а я, вот видишь... умираю...

Внезапно пропал гнев у Акима. Он смело приблизился к медведю и присел перед ним на корточки.

— Ты что же это, брат, а? Так ведь не годится...

Он осторожно дотронулся рукой до горячих ноздрей, где кусками запеклась черная кровь. Медведь не пошевелился.

— Ах, ты, беда какая!—растерянно воскликнул Аким.—Что, ужли так плохи дела-то? Помочь-то, брат, нечем.

Он окинул взглядом всю тушу медведя. Там, где была сорвана кожа и обнажилось свежее мясо, густым роем кружились с жужжанием мухи и целыми кучами сидели в незадохших ранах. Аким махнул на них рукой.

— Кишь вы, проклятые! Нигде нету от вас спасенья!

Испуганные мухи слетели, но через минуту вновь уселись на свежие раны.

— А чтоб вас, едрена палка!—выругался Аким, отошел в сторону, выдрал несколько пластов влажного моха и положил их на раны медведя.

— Теперь эти твари проклятые не будут тебе досаждают.

Он опять присел на корточки.

— Что ж теперь мы будем делать с тобою, дружище, а? Может испить хочешь, а?

Медведь оставался недвижим.

— Эх, ты, бедняга! И испить-то тебе не в чем принести. Была бы береза, завернул бы сейчас минутным делом черпачек или что, а то и бересты здесь взять негде. Сам знаешь, какой тут край: кедр да лисень. Да вот еще ольха... А какой из нее прок, из этой самой ольхи? Ее только заяц уважает, потому, как заяц самая глупая животная...

— Вот ты, скажи на милость, горе какое, и водицы-то не в чем принести.

Аким оглянулся кругом, но ничего подходящего не нашлось. Вдруг лицо его просияло. Он сорвал с головы шапченку.

— А постоя-ка, парень. Сей минут мы тебе предоставим и водицы.

Он побежал к близ протекавшему ручейку и зачерпнул там полную шапку воды. Бережно донес ее до медведя и подставил ему под самую морду.

— На-ка, дружок, пей на здоровье!

Медведь чуть-чуть повел носом. Как видно, запах воды его привлекал, но пить он не стал.

— Да ты пей, не стесняйся—убеждал Аким медведя,—воды много. Я еще принесу, мне, ведь, не жалко.

Он оставил шапку около морды медведя и отошел в сторону, чтобы набрать еще свежего моха. Случайно бросив взгляд на зверя, он увидел, что медведь с трудом поднял голову, дотронулся мордой до воды и медленно стал пить. Аким даже дыхание затаил. Но такое усилие должно быть стоило медведю больших трудов, потому что он снова бессильно уронил

голову на лапы и пролил воду. Аким подошел ближе.

— Ах ты, болезный мой! И попить-то не можешь путем! Силушка-то не стало...

Он осторожно вынул шапку из-под морды медведя, покрыл его раны свежими пучками моха, предварительно обильно смочив его в воде, и пошел к себе. Но перед вечером он еще раз вернулся к медведю и поставил перед его мордой полный котелок воды,—единственный котелок, в котором Аким варил себе пищу.

V.

Аким знал целебные свойства многих растений. Он и раньше в свободное от охоты время часами шатался по лугам, собирая различные лекарственные травы. В землянке Акима целыми рядами были подвешены пучки засушенных трав. На утро он внимательно пересмотрел все пучки, но нужной травы не нашел. Он вышел из землянки и посмотрел кругом. Долина уже покрылась высокой и густой растительностью и расцвятилась яркими цветами. Аким спустился вниз и долго искал среди этого пахучего зеленого ковра нужное ему лечебное растение и, наконец, нашел. Он сорвал несколько длинных ланцетовидных листьев, завернул их в тряпицу и положил к себе за пазуху. В этих поисках прошла добрая половина дня, и когда он подходил к тому месту, где лежал раненый медведь, солнце уже склонилось и червонным золотом покрывало вершины гор.

Еще издали Аким заметил, что медведь лежал в другом положении. Должно быть он пытался встать, но не мог; он только прополз немного на передних лапах. Об этом свидетельствовала сильно примятая трава. Одна задняя нога медведя была подобрапа под себя, а другая была неловко вывернута в сторону.

Аким подошел ближе. Попрежнему мухи целым роем кружились над телом неподвижно лежащего животного и ползали по его открытым ранам. Аким еще подвинулся. Глаза медведя были закрыты. Только по чуть заметным вздрагиваниям всего тела

можно было догадаться, что он жив. Аким прежде всего отогнал мух.

— Ах, чтоб вас разорвало, едрена палка!—по привычке выругался он.

Близко наклонившись, он внимательно рассматривал потемневшие раны медведя. Потрогал их рукой, и в одном месте даже отколунил пальцем засохшую кровь. Этот осмотр убедил Акина, что раны не только не подживали, но, наоборот, многие из них начали гноиться и чернеть.

Подобрав с земли котелок, Аким принес воды и тщательно промыл все раны. Затем он высыпал на руку из нескольких ружейных гильз порох и обильно посыпал им пораненные места. Сверху же он прикрыл их принесенными из долины ландетовидными листьями.

— Это, брат, самое полезное средство. Оно, правда, сначала немного покусает. Опять же—без этого нельзя, потому что не сахар, а порох. Да, дело-то твое, можно сказать, бя... Поди, и внутренность всю отбил? И не евши столько время. Ну, да ты ничего, не унывай, паря, авось и одыбишь. Вот лежать то тебе однако неловко, а? Ишь лапу-то как заворотил. Дай ка я тебе поправлю лапу-то.

Аким нагнулся к задней ноге медведя, неловко откинутой в сторону, и хотел ее переложить иначе. К его удивлению, медведь вдруг вздрогнул всем телом и протяжно застонал.

— Ай, больно? — жалостливо спросил Аким.—Вот ты, скажи на милость, беда какая. Э, плохо... Вот и лапу, видно, изувечил.

Он осторожно начал ощупывать ногу медведя. Неожиданно, сквозь густую шерсть, Аким почувствовал под руками острый выступ. Так и есть... Нога сломана. Медведь опять глухо застонал.

— Ай, больно?

Аким встал. Раздумье и выражение участия было на его лице.

— Вот оно какое дело-то. Сломал, значит, ногу-то. Докатал, значит, камушки! Ну, да ты, парень, ничего, не сумлевайся, мы это дело живо обмозгуем, дай только срок.

А солнце совсем скрылось и снизу долины потянул седой туман. Еще горели вверху, как факелы, вершины гор, а внизу уже бежали длинные тени ночи.

— Поздно уж,—решил Аким,— скоро ночь. Вот я тебе водицы пока принесу.

Как и накануне, он поставил котелок, наполненный водой, к самой морде медведя и дотронулся рукой до горячих поздрей животного.

— Одначе же и дух идет у тебя из пасти-то нехороший.

Он встал.

— Пожалуй и поесть охота, а? Ужотка, погоди, я завтра тебе на



Аким зачерпнул в шапку воды.—Ну-ка, парень, пей на здоровье!!

обед рябчика предоставлю. А вот на-
ка тебе, закуси покедова.

Аким наломал молодых побегов
ольхи, надрал руками целую охапку
травы и все это сложил около ко-
телка с водой.

— Ну, оставайся тут... А я пойду...
Поздно уж... Смотри: солнце-то где!
Пока шель да шевель—гляди и совсем
стемнеет.

Аким окинул взглядом еще раз такую
огромную, такую лохматую и такую
беспомощную тушу медведя, потом
подтянул повыше голенища у ичагов,
закурил трубку и быстро пошел к дому.

А в это время уж робко выгля-
нули с неба первые любопытные
звезды и чуть заблестал рожок моло-
дого месяца. А еще немного попозже—
бесчисленное количество больших
и малых звезд высыпало в потемнев-
шем небе и ярче засветил молодой
серп, озаряя мягким сиянием своим
и горы, и леса, и ту долину, где была
затеряна одинокая землянка. Аким
еще не спал. Он сидел у огня и су-
шил отсыревшие за день портянки.

VI.

Акиму и раньше уже приходилось
иметь дело с переломами, и он знал,
как надо браться за дело. В лесу он
розыскал свежее поваленный кедр
и выколол из него две ровных до-
сочки. Топором он их ловко обтесал
с обеих сторон. Затем выбрал из
своего незамысловатого имущества
несколько тряпич и обрывок веревки.
Но Аким знал, что этой веревки ему
не хватит. Долго ломал старик голову,
где ему достать еще веревки, но ни-
чего придумать не мог. Оставался
только один исход—пожертвовать по-
водом от узды. Как ни жаль было
ему этого поводка, а так пришлось
его отвязать. Аким ворчал:

— Главное дело—повод-то, почи-
тай, совсем новый. В позапрошлом
году Ванюша, внучек, вырезал этот
повод. Такой повод в городе и за
полтину не купишь! Да уж что же
поделаешь, коли надо.

Увязав все это имущество—и до-
сочки, и тряпицы, и кусочек веревки,
и повод—Аким отправился на хирур-
гическую операцию.

Медведь лежал в том же положе-
нии. Но вода из котелка была выпита
вся. Аким сразу же это заметил, но
только не подав вида. Он присел на
корточки перед своим пациентом
и еще раз исследовал перелом.

— Ну, как дела-то, Михайло Ива-
ныч? Незавидно, а? Али ничего? Мол-
чишь? Ну, ладно, молчи, молчи... А
мы тебе лапу-то сейчас вправим. Ты
не бойся. Это, брат, мы отделаем
в лучшем виде. Кость молодая, ядре-
ная, живо состется.

Аким аккуратно разложил все при-
надлежности. Опять внимательно ощу-
пал ногу, потом осторожно разогнул
ее. Медведь застонал.

— Что, больно? Ах ты, голуба.
Сам верю, что больно, да уж ничего
не поделаешь. Терпи!..

Аким вправил на место острый вы-
ступ кости и туго-натуго обмотал
ногу тряпицами. Затем с каждой
стороны положил по досочке и стянул
концами веревки. Потом взял повод,
повертел его в руках, шумно высмор-
кался, привычным жестом обтер руку
о гачу и снова потряс в руке повод.

— Эх, хороший повод!—сказал он
громко.—Важнедкий повод!

Посмотрел на повод с сожалением
и даже вздохнул.

Этим поводом он плотно обмотал
досочки в виде спирали и ловко за-
вязал концы.

— Ну, теперь лежи себе на здо-
ровье!—громко сказал он, поднимаясь
с земли и с довольным видом осма-
тривая свою работу.—Состется в луч-
шем виде. Ты только не унывай, пар-
нюга!

Он вновь принес полный котелок
воды и поставил его на прежнее
место. Подобрал покруче развалив-
шуюся траву и добавил еще свежей.

— Ешь вот ты—плохо. Не жрамши-
то, брат, того, долго не протянешь.
Может не по вкусу тебе эта пища-то?
Вот до ягод ты большой охотник, да,
вишь ты, рано еще маленько: ягода-
то еще не поспела. А малина тут
недалеко—я знаю—важ-не ю-щая.

Так вот и завязалось знакомство
между этим чудаком-огшельником,
который больше полжизни провел
в одиночестве среди гор, среди вецу-

ганных зверей и птиц, и между зверем-лишником, который весь разбитый, со сломанной ногой, едва живой, лежал близ кедра, издавая по временам тихие стоны.



Аким вправил острый выступ кости, обмотал ногу медведя тряпицами, положил досочки и затянул веревками и поводом...

VII.

Аким теперь ежедневно навещал больного медведя. Первое время он все также лежал неподвижно, положив на лапы лохматую голову и закрыв глаза. Иногда он открывал их и потускневшим взглядом смотрел на Акима. Траву он почти не ел, но воду выпивал неизменно каждый раз. Раны на его теле быстро начали затягиваться и покрываться толстой черной коростой.

Но однажды Аким заметил, что часть молодых побегов ольхи и значительная доля травы исчезли. Аким несказанно обрадовался. Опять наломал свежих веточек ольховника и надрал свежей травы. Через некоторое время исчез и рябчик, положенный вместе с травой. Медведь оживал. К нему возвращался аппетит, а вме-

сте с ним восстанавливались и угасшие было силы. За рябчиком последовал второй, третий, несколько куропаток, три тетерки, пара зайцев и несколько сов.

Каждое утро неизменно являлся Аким и оставлял подле зверя запас пищи. В присутствии охотника медведь никогда не дотрагивался до еды.

Аким присаживался на корточки.

— Ну, как дела, Михайло Иванович? — спрашивал он обычно — поправляешься помаленечку? Ужотко, погоди еще маленько — одыбишь. Будешь еще ка-



мушки катать? Эх, ты, голова садовая! Что бы тут ты без меня стал делать? Пропал бы ни за грош...

Аким обошел животное и поковырял пальцем засохшие коросты. Медведь поднял голову, обернулся в сторону Акима и заворчал, обнажая страшные клыки.

— Сердишься, едрена палка? Ишь ты... Ах ты, тварь непонятная! Я о тебе же забочусь, а ты серчаешь. Ишь, клыки-то выставил. Мне—что,

мне ведь наплевать. Вот возьму и уйду и не приду больше, а ты тут один подохнешь с голоду. Что смотришь? Думаешь вру? Вот те крест—не вру. И повод свой заберу обратно... Ишь, какой нахлебник выискался! Мне бы, брат, этой самой живности без малого до Петровок хватило, а ты—слизнул и был таков. Утроба то у тебя тоже—медвежья!

Словом, Аким обиделся на медведя, но на другой день принес ему молоденького волченка.

— Ну, как, сердисься? — спросил он, приближаясь к медведю.

Медведь пристально посмотрел на Акима и помотал головой.

— Не сердисься? Вот оно и хорошо. По-милому, значит. На-ка вот, закуси свежинки. Он опустил на землю волченка.

— А это вот тебе гостивец!.. — Аким лукаво посмотрел на медведя, ухмыльнулся в бороду и достал из-за спины березовый сколотень. — Ты, брат, вот сердисься, а я тебе малинки принес. Важнющая, брат, малина, первый сорт.

И Аким высыпал перед самой мордой медведя целую горку пахучей, сочной ягоды.

VIII.

Однажды Аким увидел интересную картину. Медведь сидел, опершись на передние ноги, как сидят обыкновенно собаки. Сломанная нога, заправленная в дубки и обмотанная конским поводом, была подтянута под себя. Медведь медленно раскачивался из стороны в сторону и должно быть пытался встать. Аким приоткрылся за деревом и наблюдал. После нескольких усилий животное, наконец, поднялось на все четыре ноги, хотело переступить, но или от боли, или от слабости вновь опустилось на задние ноги. Аким подождал еще, посмотрел, что будет дальше, но медведь больше не пытался вставать. Тогда Аким вышел из-за своего прикрытия. Вид сидящего зверя с взлохмаченной шерстью, с сильно запавшими боками, заставил Акима насторожиться.

— Пес тебя знает, что у тебя на уме,—пробормотал он про себя.—Ты

к нему с малинкой, а он на тебя с дубинкой. Тут, брат Аким, держи ухо востро. Оно, правда, зверюга путем встать еще не может; опять же—если лапой благословит, узнаешь тогда кузькину мать. Ишь, когтищи-то какие здоровенные!

Аким приблизился к Мишке на почтительное расстояние и крикнул: — Здорово, Михаил Иванович! Наше вам!

Медведь медленно повернул морду в сторону Акима и слегка наклонил голову.

— Ну, как делишки? Али погулять захотелось? Может камушки с гольца покатавать желаете? Или что-то не хочется? Подойти-то к вам разрешаете, что ли?

Медведь несколько раз качнулся из стороны в сторону и заворчал.

— Нельзя, значит? Богаты, стало быть, стали? Что ж, прощенья просим.

И Аким сделал вид, что хочет уходить.

Медведь внимательно провожал его глазами. Опять он тихонько заворчал и лег на землю. Аким остановился.

— Ну, вот так-то и лучше.

Он смело подошел к животному и положил около убитую птицу. Затем взял котелок и принес воды.

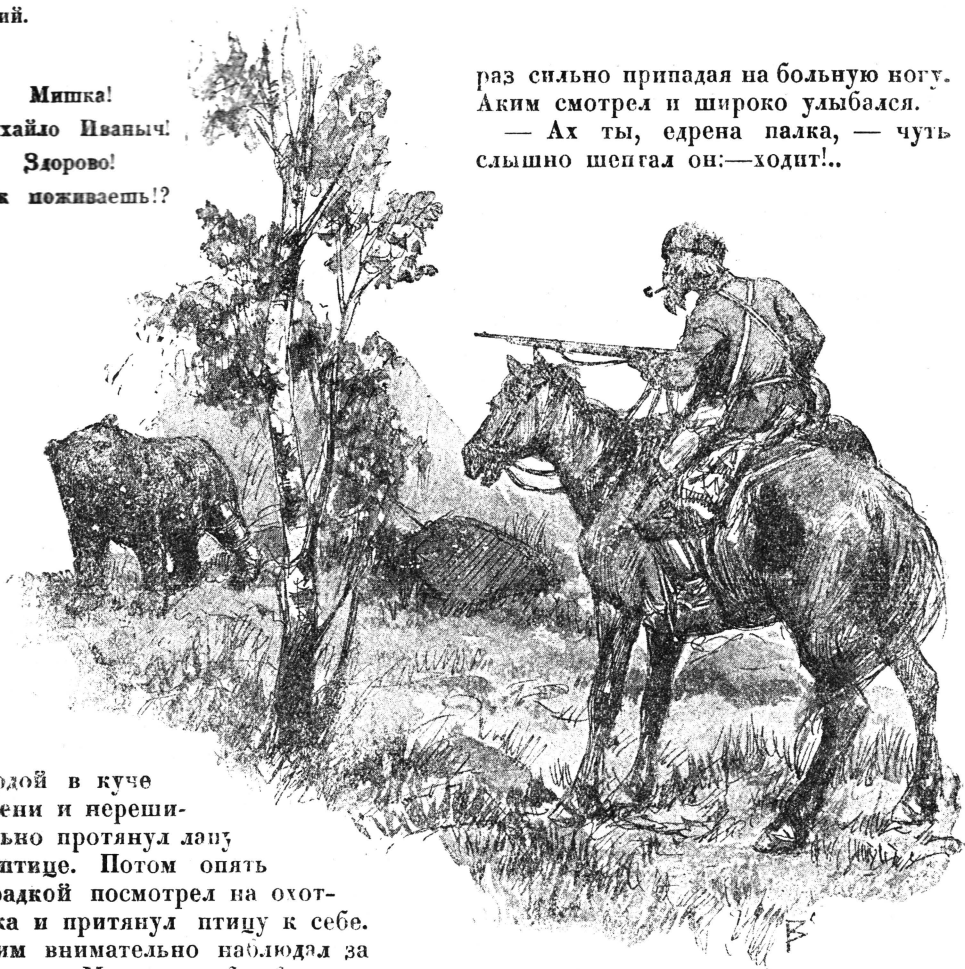
— Вот наградил бог нахлебником! Сам без малого месяц чай в туяске грею. Потому как всю посуду зверюга занял. Обожрал ты меня, братец, совсем обожрал. А пороку, а дробу, а пистонов я на тебя извел—и не счесть! А ты, заместо благодарности—зубы мне кажешь. Ты думаешь, что? Нужен ты мне, как собаке пятая нога. Ей богу, не вру! Вот возьму и уйду, и не приду больше. На кой ты мне сдался? Ты мне только повод отдай. Он может больше полтины стоит.

Так ворчал Аким, а сам в это время вырывал из земли целые пучки свежей пахучей травы и бросал медведю туда же, где лежала мертвая птица. Потом Аким отошел в сторонку, сел на мягкий мох и закурил трубку.

Медведь приподнял голову, посмотрел на Акима, потянул носом—птица так хорошо пахла! — порылся

Мишка!
Михайло Иваныч!
Здорово!
Как поживаешь!?

раз сильно припадая на больную ногу.
Аким смотрел и широко улыбался.
— Ах ты, едрена палка, — чуть слышно шептал он: — ходит!..



мордой в куче зелени и нерешительно протянул лапу к птице. Потом опять украдкой посмотрел на охотника и притянул птицу к себе. Аким внимательно наблюдал за медведем. Мягкая улыбка бродила по его губам, а в глазах светился огонек теплоты и участия. Так он сидел, посмеиваясь в бороду, пока медведь не поел принесенную ему пищу.

IX.

Через несколько дней, когда Аким, по обыкновению, принес медведю ежедневную порцию провизии, он не нашел его на обычном месте. Аким от удивления даже свистнул.

— Что за оказия? Ужли ушел?

Недоумение скоро разрешилось. В стороне, там, где протекал ключ, он увидел старого знакомого. Медведь сидел по-собачьи, поджав под себя задние ноги.

Аким остановился. Опять, как прежде, медведь несколько раз качнулся из стороны в сторону и вдруг поднялся на все четыре ноги. Так он постоял несколько мгновений, потом шагнул, потом еще и еще, каждый

А медведь, сделав еще несколько шагов, снова лег.

С эгих пор Аким встречал своего друга то в одном месте, то в другом. Иногда он даже довольно долго бродил по леску, пока наконец не находил медведя. Близко теперь он не решился приближаться и вел с медведем свои диалоги на почтительном расстоянии. Медведь каждый раз встречал охотника тихим урчанием, но трудно было сказать, что было в этом урчании: или выражение преданности и дружбы, или легкое предостережение.

Как-то занемогло, и Аким несколько дней не выходил из землянки. Он так привык к ежедневным посещениям медведя, что несколько раз порывался пойти на другую сторону долины, но ненастная погода, холодный дождь и пронзительный ветер заставляли каждый раз отказываться

от этой новой привычки. А ему хотелось повидаться с другом, он уже о нем прямо скучал.

Когда вояснило и еще едва подсохла трава, Аким поспешно отправился вниз по долине на розыски. Он обошел все места, где встречал медведя раньше, спускался по долине ниже, где начиналась тайга, поднимался на предгорье, где уж кончалась полоса леса—медведя нигде не было.

До глубокого вечера продолжал Аким поиски и все напрасно. Домой он вернулся уже в потемках, голодный, усталый и в самом скверном расположении духа. Почему-то землянка показалась ему неприветливой и неудобной. Он окинул взглядом закоптелые стены, лежанку, застланную свежей хвоей, низкий потолок, с которого свешивались пучки сухих трав, и вышел поскорее вон. Там он раздул угли, которые еще с утра тлели под слоем пепла, разжег огонь и долго сидел, печально устремив глаза в темноту ночи. Где-то недалеко ужал филин и нагонял гнетущую тоску.

Холод заставил все-таки Акима войти в землянку. Кряхтя, снял он ичаги и прилег на лежанку, но уснуть не мог. Почему-то нудно болело все тело, ломило поясницу, ныли ноги, а в груди неприятно саднила какая-то неведомая, тупая боль.

Долго ворочался и вздыхал Аким и только уж к утру забылся коротким, тревожным сном. И ему приснился медведь с взлохмаченной шерстью, с запавшими боками, с ногой, обмотанной ремненным поводом. Медведь тихонько урчал и дружески, как собака, терся мордой о ноги Акима.

X.

На утро Аким решил ехать в Култук. Давно уж надо было съездить, да все Аким откладывал:—медведь не пускал. Как мог он бросить его одного, такого беспомощного, в глухом лесу? Ну, а теперь медведь оправился, может сам себе добывать пропитание. Теперь и Акиму можно понавещаться в родную деревню.

Аким достал узду.

— Эх, жалко повода! Хороший был повод!

Розыскал обрывок веревки, распустил его и надвязал скрученной тряпичей. Неказисто, да ничего, сойдет. Снова оседлал Аким свою Машку, перекинул за седло порожние сумы, закинул бердану за спину и поплелся потихоньку вниз по долине.

Уже несколько часов ехал Аким. Уже тропа вывела его из горной долины в широкую падь, где начиналась тайга. Было тихо и мертво кругом. Только чуть слышно перешептывались между собой вершины деревьев, да солнечный свет то и дело перебегал широкими пятнами по зелени веток.

Аким опустил поводья.

— Да, вот тебе и козлятинки привез в гостинец,—рассуждал он сам с собой.—Скажет Ванюшка: «А где же, дедка, козлятина»?—ан и нет козлятины. И столько времени прожил в тайге, что порошу извел, что пробил, что пистонов, а ничего не добыл. А все почему? Все он, медвюга, виноват. Оно, конечно, по человечеству, как было не пожалеть зверюгу, потому тоже божья тварь, и не должна зря погибать... Опять же, повод унес. Это уж, нехорошо. Ванюша спросит: «Где, дедка, повод»?—ан нет повода...

Вдруг лошадь под Акимом захрюкала и сильно шарахнулась в сторону. Аким даже чуть из седла не вылетел. Он схватился за повод.

— Дура! Чего ты?

И в это время он увидел стоящего на тропе медведя. Аким был старый таежный волк и неожиданно встречаться в тайге с медведем ему не было новостью. Он быстро выхватил из-за плеча бердану и приложился. В это время медведь шагнул и, к своему крайнему изумлению, Аким увидел, что нога у него была обмотана тряпицами и перевязана поводом.

— Мишка! — радостно закричал Аким, — Михайло Иванович! Да стой ты, Машка, не бойся, дура! Это наш старый приятель, он нас не тронет. Здорово, Мишка! Как поживаете?

И Аким торопливо стал слезать с лошади. Но медведь постоял еще

мгновение, посмотрел на Акима и решительно пошел прочь, сильно припадая на заднюю ногу.

— Мишка, стой! Стой, друг, малевичко! — крикнул Аким и побежал вслед за зверем.

Медведь не слушал и быстро улизался от Акима.

— Повод-то, повод-то хоть отдай, едрена палка!..

Но медведь уже исчез среди деревьев.

Аким постоял, посмотрел растерянно вслед медведю, шапку снял, крепко почесал лысину, плюнул и вернулся к лошади. Тут он опять постоял, опять зачем-то снял шапку, хотел было закурить, да раздумал и сел в селло. Машка храпела, упиралась и не хотела идти вперед.

— Ты, дура, балуй! — грозно прикрикнул на нее Аким и сильно дернул поводья.

Только, когда они миновали то место, где только что прошел мед-

ведь, лошадь успокоилась и пошла опять размеренной переступью.

Дома Аким выпарился в бане, съездили на поле посмотреть, как наливаются яровые, дождался, когда ему привезли из города пороха, дрови, свинца для пуль и снова стал собираться в горы.

О приключении с медведем он никому не рассказывал. Когда однажды внук Иван спросил у деду, куда девался ременный повод, то Аким сочинил какую-то длинную и странную небылицу.

Как-то на заре, когда еще клубился над Байкалом густой пеленой туман, выехал снова Аким на своей саврасой кобыле. Сумы, перекинутые за седлом, были туго набиты хлебом, молодой картошкой и охотничьими припасами, а за спиной у Акима торчала неизменная бердана.

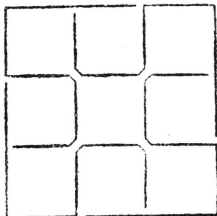
На Машке была узда с медным набором, а от нового ременного повода так и разило легтем.

НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАИ!

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

Задача № 59.

Куски проволоки в виде пятерки надо расположить так, как показано на рис.



Задача № 60.

Написать нулевое выражение не хитро — напр.: $6 + 1 - 7 = 0$. Однако самым маленьким числом будет $\frac{1}{8^9}$.

Выражение 8^9 (8, помноженное 9 раз само на себя) будет равно около 124 250 000, следовательно наше число будет равно $\frac{1}{124250000}$ или около 0.000.000.008



АЛТРУИСТ

Посмертный рассказ П. П. ГНЕДИЧА

Иллюстрации Н. М. КОЧЕРГИНА

I.

Карп Логгинович Почепин был профессор. Не знаю, был ли он действительно профессором, но когда он рекомендовался, всегда говорил: «Профессор Почепин». Несколько смущает в определении этого звания то обстоятельство, что официально он никогда не подписывался профессором, а ставил впереди фамилии только чин: Коллежский Ассессор. Да профессора, вообще, коллежскими ассессорами не бывают,—это, по крайней мере, надворные советники, а нет, так и действительные статские, даже тайные.

Читал он лекции на каких-то танцевальных курсах, впрочем одобренных правительством, хотя и державшихся в подозрении. Ходил он в старой потрескавшейся обуви, в потертом плаще, и носил довольно неприятную шевелюру длинных волос. Он был всегда в золотых очках:—единственный предмет роскоши, допускавшийся в его гардеробе. Палок и зонтиков он никогда не держал в руке, и когда шел дождь,—поля его коричневой шляпы опускались грибом со всех сторон, а воротник порыжевшего пальто подымался, закрывал его затылок, уши и бороду, руки глубоко запускались в карманы, он бесстрашно шаркал стоптанными резиновыми каблуками по мокрым троттуарам и осторожно нес какую-то затаенную идею в своем мозгу, точно боялся расплескать ее по дороге.

Если встречался знакомый, он его сразу не узнавал, а всматривался в него не без изумления. Затем старался изобразить на своем замороженном

лице улыбку, и, потрясая руку, говорил:

— Ах, это вы!

К молодежи он относился внимательно и всегда хлопотал за юношу, завязшего в беду. Высылали ли кого, сажали, заболел ли молодой человек,—товарищи шли к Почепину, и он неизменно обещал:

— Хорошо. Похлопочу. За удачу не отвечаю. Но похлопочу.

Иногда была удача, иногда нет. Знакомство у него было обширное. Он приходил к лицу власти имеющему, свободно усаживался у его стола в креслах и говорил ему совсем панибратским тоном, словно они с пяти лет росли вместе:

— Надо его вызволить. Необходимо. Уж вы примите участие. Хотите, я возьму его на поруки? Я ручаюсь.

Его «импонирующий» тон иногда производил впечатление. Он рисковал порою обращаться даже к весьма высоким сферам, и, небрежно рекомендуясь — «профессор такой-то», говорил наставительным тоном:

— Следует исправить ошибку. Это не больше, как недоразумение. Это я вам говорю. В каше, сумятице, возможны такие прорухи, но их надо немедленно исправлять. Я от души вам советую,—действуйте скоро, решительно. Это произведет превосходное впечатление на молодежь,—особенно, если за ошибку извинятся.

Он так серьезно и выразительно смотрел через очки, что гипноз удавался. И он таким образом снискивал популярность и не малую, как среди мужской, так среди и женской части учащейся молодежи.

II.

Женской части... Он был любитель молоденького женского тела. Но он был враг насилия, просьб, даже предложений. Он действовал не на воображение, а на ум. Он говорил о высших задачах человечества. Он умел говорить. Говорил парадоксами, небрежно, повидимому не обращая внимания на слушательницу, но зорко следя за тем впечатлением, какое он на нее производит. Он ждал того момента, когда она сама кинется к нему, начнет целовать его немытые руки, а он, снисходительно трепля ее по голове, тихо улыбаясь, скажет:

— Фу, какая вы экальтивированная! Успокойтесь, садьте. Ведь, я вам в отцы гожусь.

Но его возраст нисколько не мешал, чтобы в его пропахшую табаком, сыростью и грязью квартиру приходили по вечерам свеженькие девушки, почти подростки, и их каштановые, черные и белокурые волосы рассыпались зачастую по сматым подушкам, со следами блох. Он всегда говорил «о высших принципах», никогда не позволял себе пошлости или скабрезного слова и движения,—он снисходил на их ласки. И потом, впоследствии, когда в слезах упрекали его за прошлое, он убежденно возражал:

— Но, деточка,—я никогда не завлекал вас. Напротив, я остерегал. Вы сами взяли меня.—На что же вы теперь жалуетесь? Обвиняйте одну себя.

И она чувствовала, что профессор прав, и, вытирая слезы, шептала:

— Да, да, конечно... Я так была глупа и неосмотрительна.

Иногда он устраивал у себя вечеринки. Человек десять избранных студентов и студенток приходили к нему. На столе стоял большой невычищенный самовар. Крепкий чай был заварен в металлическом чайнике. Сахарница доверху была полна кусками рафинада. На тарелках, с красными узорами по краям, лежала ливерная колбаса и стояла головка голландского сыра. Масло, скорее русское, чем сливочное, печально таяло посередине. Мягкие, мохнатые сал-

фетки, вилки, ножи с деревянными черенками и один лимон на всех,—отсутствие водки и вина,—вот что встречало посетителей. Сам Почеяин уверял, что он никогда ничего не пьет, и считал алкоголь—бичем человечества. Самовар подогревали еще раза два. Съедали все,—даже корки сыра. Расходились часа в три, когда вместо чая из чайника шла уже холодная желтенькая вода, а из сахарницы хозяин высыпал остатки сахарной трухи. Но, несмотря на четвертый час, говорили о счастье человечества, о великих задачах той миссии, которая дана белой расе, говорили о Лесгафте, о Марксе, о Нитше, о судьбе будущих поколений. И потом шумною толпой молодежь шла вниз по лестнице, а хозяин светил им сверху и говорил на прощанье:

— Так путь ваш пусть будет освещен истиной, как я свечу вам теперь этой лампой.

Он возвращался к себе в кабинет. С гадливостью ссыпал в полоскательную чашку окурки. Потом отпирал ключом шкаф, служивший ему буфетом, доставал оттуда спиртовой кофейник и варил себе кофе. Потом он доставал графин с зубровкой, жестянку с икрой, настоящее сливочное масло и большую сайку. Он выпивал два стакана кофе со сливками (и сливки стояли тут же в шкафу), съедал фунт винограда, притаившегося в углу шкафа, и, ложась в постель, чувствуя действие зубровки, бормотал:

— Да, эта Лика—премилая циплятинка. Надо будет позаняться с нею. И он, натягивая свое просаленное одеяло на ухо, безмятежно засыпал, сознавая, что завтра праздник и идти никуда не надо.

III.

Его «ученые труды» были сомнительны. Впрочем, порою попадались его исследования в научных журналах и даже он издал два тома каких-то монографий, и один из них был иллюстрирован. Обтрепанное, затертое платье не мешало ему ездить за границу. Он ездил не только в Лондон, Цюрих, Гейдельберг, но даже в Аме-

рику и Токио. Он уверял, что получал приглашения от каких-то международных съездов, хотя объяснялся только по-немецки, и то достаточно плохо. Читал он, однако, свободно и по-английски, и по-французски, и даже, как уверял, по-испански и итальянски. Друзей среди ученого круга у него не было. К нему относились как-то скептически. Были люди, заподозревавшие его научные знания и называвшие его «верхоглядом». Но это не мешало ему на лекциях очень тонко проводить идею, что в сущности прав только он, а все его *colleg'i* в заблуждении, и заблуждение их происходит от их тупости и узкости взглядов. Они все однобоки. Они все в шорах. Это не живые люди, а аптекаря науки. Для них важна не идея, а классификация и полка. Это допотопные мастодонты—и на них надо смотреть, как на остатки окаменелых пород.

Воротнички у рубашек были у него какие-то желтые и ржавые, даже когда надевал он чистое белье. Даже в торжественных заседаниях его видели в каких-то жеванных фраках и нечищенных сапогах. Часы у него были вделаны в кожаный браслет, а на жилете шли одни поперечные складки. Иногда он намекал, почему у него такой вид:

— Молодежь чуть не голая ходит,— надо помогать.

Но о широкой благотворительности его, однако, что-то не было слышно. Раз как-то он дал дырявую старую рубашку несчастному юноше, только что вышедшему из больницы, да подарил пару клетчатых панталон в кофейных пятнах одному мрачному меднику,—за эти панталоны татарин давал с трудом полтинник.

Когда у него просили денег, он вынимал из стола кошелек, подавал его просящему, и радушно предлагал:

— Возьмите, сколько надо.

В кошельке лежали старая рублевая бумажка и мелочь. Просящий конфузился, брал копейку тридцать, а Почепин советовал:

— Не стесняйтесь,—берите больше.

Но однажды был такой случай. Отравились две курсистки. Причины этого отравления так и остались не-

выясненными. Хоронить их было не на что, так как кроме литографированных лекций и дырявых трех пар чулок ничего у них не осталось. Почепин был хмур и угнетен. Он сказал, что следует открыть на похороны подписку. Он взял лист бумаги, сделал соответствующую надпись, и на первом месте поставил: «Пр. Почепин—50 руб.».

Это всех удивило. Профессора подписывали кто—пять, кто—три. Студентки то рубль, то семь гривен. Почепин сам собирал деньги. Он не брезгал даже и двугривенными. В один день он набрал девяносто рублей, на следующий—сорок. Это кроме его пятидесяти. Он сам ездил на кладбище, заказывал могилу, сам торговался с гробовщиками, лично смотрел, как ремнями прикрепляли к дрогам гробы. Сам шел с толпой студентов на Смоленское и загадочно пророчил:

— То ли еще будет!

Он говорил что-то о языческих верованиях. Говорил о том, что такое человеческий дух. Говорил истово, строго глядя на слушателей через забрызганные дождем стекла очков. Его слушали с благоговением. Когда стали забрасывать землею могилу, он, стоя на ее краю, только проговорил:

— Сегодня—вы, а завтра—я!

Он вздохнул и более ничего не сказал.

Но этот случай окружил его еще большим ореолом. Только какой-то прыщеватый философ заметил:

— Неужто эти похороны обошлись в двести рублей?

IV.

Ко мне он заходил редко. Раз он просил меня сделать сообщение о скором его юбилее,—напечатать об этом в большой газете.

— Вы понимаете,—я против юбилея,—прибавил он.—Но от меня требуют, чтобы я его принял. Это поднимет наше общее дело. Отказаться неудобно.

Я напечатал заметку. Он прочел ее, вздохнул и с гримасой сказал:

— Как это все противно!

От торжественного обеда он уклонился, посоветовав поклонникам:

— Деньги, что хотят проесть в честь меня, я предложил бы пожертвовать на плату недостаточным слушателям.

Однако, он не прочь был, чтобы ему дали пожизненную пенсию. Но в этом ему отказали. Он проницательно улыбнулся и сказал:

— И чудесно! По крайней мере, я могу теперь громко говорить о их глупости и скаредности.

И он громко говорил:

— Я ничего другого и не ожидал.— И прибавлял Пушкинский стих: «Россия, бедная Россия!»...

Юбилей прошел тускло. Отвечал юбиляр чествователям покровительственно и сдержанно. Он принял чествование, как нечто должное, и отнесся снисходительно к этой затее.— Ему неизвестные почитательницы прислали на квартиру несколько корзин цветов и два кондитерских пирога. К пирогам он отнесся пренебрежительно, хотя потом ел их целую неделю, а цветы поставил себе на письменный стол и нюхал их даже во время речей, точно это был спирт, успокаивающий нервы.

На чествовании молодежь аплодировала ему ожесточенно. Он в ответ говорил:

— Всю мою жизнь я посвятил вам, и остаток ее я всецело отдам любимому делу.

Ему зааплодировали еще сильнее. Он кланялся, но не прижимал руки к сердцу, находя это унижительным. Он даже не надел ради юбилея фрака, желая показать этим как неожиданно было для него торжество.— Он отказался от обеда, но все-таки поужинал в компании человек двадцати у Кюба, и должен был выслушать ряд речей, где говорилось о беззаветном служении человечеству, и об яркой идее, пронизывающей золотыми лучами весь его блистательный путь. Он скромно на это ответил:

— Это долг каждого смертного. Моя религия—альтруизм. Все ближним и ничего мне.



Он доставал графин с зубровкой, жестянку с икрой...

— Ура!—закричали голоса, в которых более чувствовалось влияние релерера, чем искреннего энтузиазма. Потом, после шампанского, опять перешли к бордо и даже варили жженку, к чему довольно презрительно отнеслись прислуживающие татары.

Когда, на другой день, юбиляр проснулся с головной болью, он только спросил у пустой комнаты:

— К чему это все? Какая польза от этого человечеству? А в частности мне? Смотри на свои голые, кривые, волосатые ноги, спущенные с кровати, он печально потряс головой и проговорил:

— Никакой!

V.

Раз, в светлое майское утро, мне сказали, что спрашивает меня какая-то барышня, от Почепина. Я вышел к ней. Стройная, совсем молоденькая девушка, в белом багистовом платье с пучечком фиалок на груди, в темной соломенной шляпе и с испуганным лицом, ждала меня в кабинете. Она сказала, что Карп Логинович заболел и очень просит меня зайти к нему. Я несколько удивился, почему меня? Ведь мы никогда с ним

не были близки. Но барышня возражала:

— Ах, он вас так любит!

Она была встревожена, и мне показалось, что глаза у нее были как-будто заплаканы. Я осведомился, что с ним. Барышня заволновалась еще больше и начала уверять, что доктора не понимают его болезни, но что ему плохо. — Он умоляет вас притти, — закончила она, — и я вас о том же умоляю.

Я даже не знал, где он живет, но она обещала меня проводить, уверяя, что это недалеко.

И мы приехали к нему. Первая комната была уставлена книжными шкапами, при чем моя спутница уверила, что это столовая. Следующая комната была в одно окно, там стоял рыночный письменный стол, а за перегородкой помещалась кровать. Хотя было полутемно, но все же ясно было видно, что белье было на постели грязное. Сам Почепин лежал навзничь, побелевший, похуевший и смотрел прямо в стену. При моем входе он повел на меня глазами и протянул руку, костлявую, свободно болтавшуюся в рукаве.

— Вы? Рад! — проговорил он — и таким слабым голосом, как-будто он собрался немедленно умирать. — Берите стул, садьте. Вы, Ираидочка? Спасибо.

Ираида подошла к нему, стала поправлять подушки, с лицом человека, постоянно исполняющего эту обязанность, и спросила:

— Принимали, Карп Логгинович, облатки?

— Нет, эта дура что-то бормотала... Но я решил вас подождать.

Она нетерпеливо повела плечами, приотворила дверь в темный коридор и крикнула:

— Матрена, стакан отварной воды!

— Вот моя сестра милосердия, — сказал он, — показывая глазами на Ираидочку. — Без нее я бы издох, как паршивая собака с этой дурой.

«Дура», — толстая, низенькая, с лоснившимся как после бани лицом, внесла добродушно стакан воды на блюдечке и поставила его на стол.

— А отчего вы не давали ему лекарства? — строго спросила девушка.

— А не хотят. Из моих рук не желают. Говорят: вот она придет, — туды...

— Ну, пошла вон! — нетерпеливо сказал больной.

Он принял лекарство, не стесняясь растегнутым воротом, через который выделялась вся его желтая грудь, с выдавшейся грудной клеткой, и клавишами ребер. Потом опять запрокинул голову на грязные подушки и зашептал:

— Доктор тут ездит, Пархоменко. Сопляк. Ничего не понимает. Пичкает всякой дрянью. Позовите кого другого. Ну, десять, пятнадцать рублей за визит.

Я осведомился, что у него болит.

— Давит. И грудь, и бока, и голова... Этот прохвост мушку хочет или банки. Не хочу я банок... Не хочу мушки. Лучше подом. Меня Ираидочка помажет. Эго ничего, что она еще не замужем. Пусть приучается...

Ираида отвернулась и что-то перебирала между склянок.

— Пусть настоящий... Не Пархоменко. Привезите... Ну, заплатите ему сколько надо... Я денег вам дам... Ираидочка, вынь бумажник из-под подушки... Выньте... Нет, постойте, я сам открою... Вот вам двадцать пять на расходы. Хотите еще десять? Вот еще десять... Ираидочка, бумажник опять под подушку подсунь... А эту дуру, Матрену, я прогоню. Ночью прогоню

— Вам доктор не велел много говорить, — сказала Ираида, несколько смущенная его интимным обращением.

— Не могу я! — закричал он. — Не могу я молчать... Целый век говорил, и вдруг нельзя...

VI.

Я к доктору не поехал и доктора не привез. Мне сказали по телефону, что он на три дня уехал в Москву. Пархоменко, приехавший при мне, вдобавок сказал:

— Как хотите. Не стоит. Духовника надо.

Ираида предложила больному позвать священника. Он, с трудом шевеля языком, сказал:

— Вот еще: очень надо... Ему ведь платить придется...

Он замолчал и впал в забытие. Потом он открыл глаза и попросил шампанского. Пархоменко сказал, что

койный не оставил завещания? В таком случае надо наложить печати на письменный стол.

— Едва ли у него найдется что ценное,—заметил я.

— Для порядка-с.

Карпа Логгиновича схоронили. Ираидочка хлопотала. Думаю, что похороны были устроены на ее счет: она была из состоятельной семьи. За гробом шло больше молодежи, чем сослуживцев. Несколько барышень плакало. Какие-то особы женского пола с распутившимися от сырости волосами тупо смотрели вокруг. Больше всех плакала Матрена и в пестром платке несла кутью. Карп Логгинович лежал в гробу спокойно, безмятежно.— Два его товарища говорили, куря возле паперти:



... — Лучше подом. Меня Ираидочка помажет.

ему теперь можно все давать, что он ни попросит. Он отпил полстакана и проговорил:

— Будет!

Это было последнее его слово. Ночью он умер.

Когда утром я входил в его квартиру на павихиду, низенький, черненький человек отпирал итальянским ключом соседнюю квартиру. Увидя меня, он приподнял шляпу.

— Я судебный пристав, живу здесь,—сказал он.—Вы не знаете, по-

— Двучичный был мужичонка.

— Ну, еще бы!—подтвердил другой.

Когда могилу обложили дерном и воткнули крест, Ираида опустилась на колени и горько зарыдала: точно ей впереди еще не оставалось жить долгих полвека.

Меня позвал судебный пристав на вскрытие опечатанного стола. Мы его вскрыли. Много было бумаг совершенно для нас,—а может быть и ни для кого,—не интересных. Какие-то конвертики с пучками волос и под-

писями: 1881 год, 1885 год, 1892 год, 1914. Потом нашлось несколько фотографий совершенно недвусмысленного содержания. Затем, в среднем столе, попали мы на чековую книжку и на книжку записей Земского банка. Последний чек был именной на полтора ста рублей, на имя Ираиды Васильевны Лотохиной, выданный неделю назад. В книжке записей взносов аккуратно были записаны банковскими чиновниками суммы.

— Не подсчитаете ли?—предложил мне пристав. — Сведите балансик.

«Балансик» оказался более ста тысяч.

Родственников у Карпа Логгиновича не нашлось. Их вызывали объявлениями. Оказался какой-то дальний племянник, но родства своего ничем доказать не мог.

Мы тогда, при описи, весьма тщательно все пересмотрели. Нашлось четыре простыни, семь дырявых рубашек, неполная дюжина дешевых платков. На стенах висели плохенькие картинки.—Библиотека была самая шаблонная:—за нее оптом букинисты давали триста рублей, да и то морщились, и призывали в свидетели бога: должно быть, по их мнению, Творец мира был знатоком в книжном деле. Фотографии я предложил сжечь, но пристав взял их себе, говоря, что у него есть знакомый присяжный поверенный — коллекционер таких вещей... Еще нашли веер сло-

новой кости, на котором цветочными гирляндами было написано «Зенаида», и внизу болталась грязная кисть от шелкового шнурка. Потом нашелся огромный жандармский револьвер, заряженный пятью пулями. На стене висел стеклянный глазной душ, на полу лежали гимнастические гири. Ни одной порядочной вещи во всем хозяйстве: даже перочинный нож,—и тот был тупой и обломанный.

Впрочем еще мы нашли в столе книжку в сафьяном переплете, на котором было вытиснено слово «Дневник», а на первой странице было написано:

«Дневник могут вести только великие полководцы или идиоты».

Вот и все

Зачем жил Карп Логгинович, так обрезывая и урезывая себя во всем,—осталось тайной.

А впрочем, может быть, он был более, чем счастливый человек, хотя жила у него кухаркой Матрена-дура.

Деньги его были временно сданы в депозит Окружного Суда, а потом куда перешли — не знаю. Зачем он копил их и клал в банк — не знаю тоже.

Удивительное дело: его молодость забыла очень скоро. Вся его знаменитость померкла сразу, едва он умер, и после него осталось совершенно ненужное, пустое место. Даже Ираидочка забыла его через три недели. И почему его все называли, и даже он сам — альтруистом?



ЖИВОЙ ПЕСОК

Рассказ ЛЕОКАДИИ ПОПОВСКОЙ,

получивший первую премию на литературном конкурсе американских студентов.

От Редакции. Мы только что получили последний номер лучшего из американских ежемесячников. Это — толстый журнал, без иллюстраций, типа приблизительно наших прежних „Вестника Европы“ или „Русской Мысли“. Основной материал его — публицистика. Беллетристике отведено меньшее место, дается — избранная. Оказывается, журнал организовал в 1927 г., как и „Мир Приключений“, конкурс на лучшие рассказы, но с той особенностью, что в качестве авторов на состязании могли выступать только студенты многочисленных в Америке университетов. Первая премия составляла 500 долларов, т. е. 1000 рублей, как и у нас. Всего на конкурс было прислано около 500 рассказов. Теперь журнал поместил удостоенный первой премии рассказ, написанный студенткой Мичиганского университета Леокადией Поповской. полькой по происхождению, живущей в Америке с 10-летнего возраста.

Рассказ этот сам по себе не заслуживал бы перевода на русский язык. Он грамотен, но лишен литературных достоинств: бледен по фабуле, вял в развитии действия, бескровен по языку. Но мы печатаем его, как лучшее, что написали американские студенты в 1927 г. Все познается по сравнению... И смело можно сказать, что такой рассказ на конкурсе в СССР не получил бы и десятой премии, а был бы забракован. И еще нужно отметить, что хотя в этом году, по официальным отзывам, поступающие в Вузы оказались весьма слабыми в литературном отношении, но все же русский студент такого бесцветного рассказа не написал бы.

Вчера вечером я слышала, как сосед рассказывал моему отцу про охоту, с которой он только что вернулся.

— Мы великолепно провели время, — говорил он — если не считать проклятой истории с движущимися песками. Я потерял там свою собаку — знаете, Джипа?

Мы все огорчились, услышав про судьбу бедного Джипа.

Каждый раз, когда кто-нибудь говорит о движущихся песках, у меня мороз пробегает по коже, потому что передо мной встает тогда один летний день из далекого прошлого. И мне вспоминается удивительная женщина, носившая имя Стефании.

Образ этот всегда возникает в моей памяти таким, каким он был в то лето. Высокая, обаятельная, прекрасная женщина с любящим сердцем. У нее была в высшей степени приятная наружность. Цвет кожи ее был нежен, как у ребенка, волосы темные и густые, глаза черные и глубоко сидящие под красивой линией бровей и высоким, чистым лбом.

Стефания была лучшим другом моей матери. Я вошла в их тесный союз со дня своего рождения, потому что она тоже любила меня.

Несмотря на свою молодость, Стефания была уже матерью четырех маленьких сыновей. Первый из них был года на четыре старше меня. И у Стефании, и у моей матери были старшие замужние сестры, но ни у одной из них не было дочерей. Это было причиной того, что меня ласкали и баловали, в особенности Стефания, которая говорила, что ее три младших сына обязаны своим существованием мне, потому

что они появились на свет только благодаря ее надежде иметь дочь. Тогда мне было всего семь лет и я не понимала значения этих слов. Сегодня значение это стало достаточно ясным.

В предшествовавшую этому лету зиму умер мой старший брат, а весной — второй и последний. Мои родители были поражены горем, а я грустила и чувствовала себя одинокой.

Поэтому, вместо обычного летнего местопребывания, моя мать избрала лесистую местность вдали от привычных людей и обстановки. В самом начале лета привез нас отец в поместье одного из своих дальних родственников, в гористую, лесную, прекрасную местность. Здесь была только одна поляна, на которой стояли постройки, окруженные садом. Отец оставил нас там и сам уехал в город. Он приезжал к нам каждые две недели и проводил с нами несколько дней.

Однажды, больше чем два месяца спустя после нашего приезда, мы получили от него письмо, которое мать разрешила мне прочесть.

Я читала с большим трудом, разбирая каждое слово по складам, но после значительных усилий я разобрала, что: «а как ты думаешь, что я тебе скажу, моя дорогая? Знаешь, Стефания говорит, что она непременно хочет тебя повидать и придет к тебе. Она стремится к тебе и ничто ее не удержит. Джордж тоже едет, — я добился этого, хотя он сначала и упрямился. Я настаивал на том, чтобы он ехал, потому что знал, что Стефании будет горько, если он не поедет. Она выглядит очень плохо.

Тебе будет приятно, если она поживет с тобой. Мы славно проведем время, — будем охотиться, пока вы будете заниматься пересудами».

— А почему не хочет ехать Джордж, мама? — пожелала я знать.

— Я сама не знаю, дорогая. Может быть, он не любит деревню.

Мы сейчас же отправились сообщить нашим хозяевам, что к нам едут гости. Хозяева были гостеприимные люди и охотно принялись хлопотать, чтобы приготовить все для новых гостей. Маленький, старый, краснолицый и беловолосый хозяин сейчас же стал заботиться о запасах провизии. Он улыбался и потирал руки. Его толстенная жена суежилась, отдавая приказания. Она была очень взволнована. Люди редко заглядывали к ним, они жили в расстоянии миль от свежих людей.

Я шептала на ухо своей собаке «Индюк» имена тех, кто должен был приехать, и что мы будем делать, когда они, наконец, придут.

И вот они приехали. Что это был за день! Приближался полдень, когда мы заметили на горизонте по дороге, тянувшейся за домом, две точки. Мы ясно различали их, когда они были еще в миле расстояния. Началась великая суета.

В саду пурпурные астры и желтые настурции шептались между собой, уютно сидя в своих широких клумбах перед домом. Множество красных маков опустили головки, тихонько покачивая ими в легком ветерке, ласкавшем их. То тут, то там из густой травы, где было тенисто, прохладно, выглядывали голубые незабудки, желая знать, что же происходит. Высокие, древние тополя, белые березы и плакучие ивы, любовно сторожившие дом, теперь наперебой старались перешептаться друг друга.

— Я вижу их! Я вижу их!

Все население поместья металось по двору то затем, то за другим, так что дышлота, утки и индюки рассыпались во все стороны с диким криком и гогомом:

— В чем дело? В чем дело?

Моя мать, я и Индюк взобрались на гору, поднимавшуюся на несколько сот футов рядом со строениями, и стали смотреть вдаль, чтобы разглядеть приближающиеся экипажи.

Моя мать стояла прямая и высокая, защищая одной рукой свои блестящие глаза, а другой размахивала платком. Ее мягкое белое платье развевалось ветром — то парусило, то льнуло к ней. Я прыгала возле нее, взволнованно махая платком, особенно после того, как кто-то стал махать нам в ответ из первого экипажа. Все это было уж чересчур для Индюка: он весь дрожал от экстаза, лаял, бежал как сумасшедший за птицей или за дышленком и теребил банты на моих туфлях.

Наконец, мы сбежали вниз встречать гостей. Сколько объятий, смеха, криков! Лошади ржали, Индюк громко лаял, дети кричали:

— Ах, посмотри, мама! Посмотри сюда!

В первом экипаже приехала Стефания с тремя старшими мальчиками и молодой гувернанткой; муж Стефании Джордж и старая няня Марианна с малюткой ехали во втором.

Как только все вышли из экипажей и коляски отъехали, гувернантка села с измученным видом на ближайшую скамью.

Отец обратился к моей матери.

— Взгляни, дорогая, мисс Генри больна. Ты бы занялась ею.

— Ах, да, Евгения, — веселость Стефании сразу покинула ее. — Это моя вина. Мисс Генри болеет уже больше двух месяцев. Желудочное заболевание. Я настояла, чтобы она ехала с нами, потому что думала, что этот удивительный деревенский воздух принесет ей пользу. Она чуть не умерла дорогой. Вам хуже, мисс Генри?

Нет, ей не хуже. Все пройдет, если она приляжет ненадолго.

— Пойдемте со мной, мисс Генри, — сказала моя мать. Я видела, что мать очень жалеет ее. Стефания озабоченно посмотрела им вслед.

— Вам понравится это место, — сказал Стефании отец. — Очаровательный уголок!

Джордж ударил ногой Индюка, который подошел к нему, чтобы познакомиться.

— Держись подальше от меня, крысенок, я не очень-то люблю собак, — сказал он, оборачиваясь к отцу.

Я обняла Индюка за голову. Он не был крысенком, вовсе нет! Ведь, он доходил мне до пояса. Он лизнул меня в подбородок, но отец сказал: — Дорогая, не позволяй ему это делать.

Индюк понял. Он сейчас же подошел к отцу, опустил хвост и уши и посмотрел ему в лицо. Милый отец приласкал его. Потом мы оба побежали в дом посмотреть, почему мальчики так громко кричат и смеются.

Позднее, когда я была одна с Индюком в моем укромном уголке среди кустов сирени, я играла красивыми желтыми бусами, которые мне привезла Стефания, и новой куклой, подаренной мне отцом. Но я думала про Джорджа. Он очень не нравился мне. Я говорила Индюку: — Тебе не кажется, Индюшок, дорогой, что он похож на дьявола на той картинке, которую мы как-то давно видели в папиной книге? Он такой же высокий и тонкий, как этот страшный дьявол, правда? И у него совсем такая же козлиная борода, правда, Индюк?

И мой Индюк вполне согласился со мною.

Позднее, днем, все опять более или менее вошло в колею. Все понемногу привыкало к новой обстановке. Мы пообедали, ребенка уложили спать; гувернантка чувствовала себя лучше, так что вышла гулять в сад.

Моя мать и Стефания сидели в одном из уголков сада на низкой деревянной скамье под ивой. Кругом их было множество маков и темноглазых васильков. Они го-

ворили мало, только обменивались по временам фразой. Солнце медленно уплывало на ночь за деревья леса, посылая нам на прощанье золотисто-желто-красное «спокойной ночи». Маленький ветерок тоже куда-то улетел. На все легла тишина.

Мужчины находились позади дома. Они курили, разговаривали, смотрели лошадей, ружья, поля. Я с тремя мальчиками пошла на гору. За нами следом пошел лесник. Он был могучего сложения и у него были рыжие усы. Мы с Индюком восхищались им. Он рассказывал мне такие интересные истории и давал Индюку орехи, которые всегда носил в карманах. Индюк любил эти орехи не меньше, чем кости. Мы сидели на горе, слушая лесника, который строго-настрого наказывал нам не сметь даже приближаться к лесу, который находился приблизительно в миле расстояния впереди дома. В этих лесах, говорил нам лесник, были такие места, которые походили на полянки. Но на самом деле это были смертельные ловушки, живая почва, всасывавшая вас, пока вы не исчезали окончательно.

Он так напугал нас жуткими историями, что мы обещали ему, что никогда не подойдем близко к этому лесу. И мы сдержали наше обещание. Мы смотрели на лежащий перед нами лес со страхом и не могли оторвать от него глаз.

В этот же вечер в саду, залитом лунной, лесник рассказал нам еще несколько несчастных случаев. Там в лесу нашла смерть его собака; корова забрела туда и исчезла бесследно. Но ужаснее всего был рассказ про одного из фермерских работников, который пошел туда, не слушая предупреждений, и не вернулся.

В эту ночь я не могла заснуть до тех пор, пока отец не пришел держать мою руку. Эти рассказы так пугали меня.

Дом был прямоугольной формы. Передняя дверь вела в большую уютную комнату с двумя большими окнами и огромным камином у противоположного входу стены. Слева были двери в кухню и столовую, а также и в одну из спален, занимаемую теперь няней и гувернанткой. Справа были двери, ведущие в три комнаты, одна из которых была отдана Стефании и Джорджу, другая моей матери и отцу, а в третьей спали мальчики. Наш хозяин с женой устроился в маленькой комнате мезонина, а малютка — сын Стефании и я должны были спать в средней большой комнате. Для меня каждый вечер устраивалось ложе и заставлялось стульями так, чтобы я не упала. Малютка, которому тогда, кажется, было года два, спал в колыбели. После того, как дети ложились спать, старшие ходили на цыпочках и говорили шопотом, чтобы не разбудить их.

Прошла неделя. дни были напоены солнечным светом. Мы играли в игры, дивились птицам и животным.

Моя мать и Стефания делали большие прогулки. Я иногда ходила с ними. Стефания учила меня хорошеньким песенкам. Моя мать говаривала:

— Стефания, спой мою любимую.

И Стефания пела.

Иногда я говорила:

— Пожалуйста, пожалуйста, спойте про дождевые капли.

Тогда она пела нежно и тихо эту песенку.

Вечером наступали ласковые мгновения в саду, когда все собирались там, и даже дети затихали. Мужчины курили и слушали рассказы хозяина про эти леса или про войну, на которой он был много лет тому назад. Потом детей укладывали, а взрослые продолжали курить, разговаривать и наслаждаться свежим, ароматным воздухом.

Битва была у нас только один раз. В ней принимали участие мальчики, я и Индюк, пока матери и отцы не уладили дела. Мы играли как-то раз днем в поле в индейцев и привязали одного из мальчиков к дереву. Внимание наше в это время было привлечено каким-то необычайным движением во дворе дома, и мы побежали посмотреть, что происходит. Это вернулись с охоты мужчины. Мы все позабыли про нашу игру в индейцев. Пришло время ужина, мальчики хватились, за ним послали прислугу, и мы, дети, смеялись, воображая, что это так смешно, что мы забыли про него. Он вернулся разъяренный, весь дрожа от злости. Тут и начался бой!

В этот вечер нас уложили рано спать, сразу после ужина. Малютка плакал и Марианне пришлось сидеть с ним. Из комнаты мальчиков скоро стали доноситься заглушенные звуки ударов и возни. Звуки становились все громче и, наконец, не было уж сомнения, что шел новый бой. Несколько минут спустя, появился Джордж с тяжелым ремнем в руках. После того, как он вошел в комнату, наступила минута тишины, потом раздались удары ремня и болезненные крики одного, затем и другого мальчика. В комнату вбежала испуганная Стефания. Я спрятала голову под подушку, но до меня все же доносился голос Джорджа.

— Убирайся вон отсюда. Если ты не умеешь воспитать этих мальчишек, так не вмешивайся, когда я стараюсь сделать из них что-нибудь. Уходи от меня, слышишь?

Она выбежала из комнаты. Снова раздались звуки ремня и крики детей. Я тоже плакала, малютка кричал во весь голос. Но пришел мой отец, и почти тотчас же затих шум в комнате мальчиков.

— Я научу этих проклятых ребят вести себя тихо, — сказал Джордж, выходя вместе с отцом.

— Но позволь мне сказать, Джордж, что так детей не наказывают, — спокойно ответил отец, выходя вместе с Джорджем из дому.

В этот вечер взрослые не сидели, как обычно, в саду. Не слышно было звуков скрипки мальчика с фермы, тихих женских голосов и смеха мужчин. Стефания сразу же ушла в свою комнату, мать и отец вскоре последовали за ней. Час спустя, все уже легли спать.

Малютка теперь спал и слышно было его ровное глубокое дыхание. Луна, светившая

из-за деревьев, посылала лучи света через окна и стекла двери, а глубокие тени от листьев играли на полу и стенах. Я вертелась на кровати и не могла заснуть. Я была взволнована и испугана. Движущиеся листья скоро стали принимать человеческую форму. Мне сердце сильно и быстро стучало.

Потом до меня донесся голос Джорджа, злой и резкий. Через несколько минут в комнату вошла Стефания. Она присела к колыбели малютки, потом стала ходить взад и вперед по комнате. Я видела, что она часто подносила к глазам носовой платок. Я затаила дыхание.

— Ах, ей верно больно... она не должна плакать,—говорил мне какой-то голос. Слезы выступили у меня на глазах. Я села и позвала:

— Стефания!

Она поспешно подошла к моей кровати, села на нее, взяла меня к себе на колени и стала ласкать. Я чувствовала, как теплые слезы падали на мои голые руки. Я крепко обняла ее.

— Я люблю тебя, Стефания, я так крепко, крепко тебя люблю.

Мы просидели так довольно долго, когда вдруг распахнулась дверь, поток света залил комнату и жесткий, резкий голос Джорджа приказал:

— Иди сюда!

Стефания снова уложила меня в кровать и сразу же пошла на его зов. Когда за ними закрылась дверь, голоса их еще были слышны некоторое время.

Дом снова погрузился в тишину. В открытые окна был слышен шелест листьев, весело трещал сверчок, два раза прокричал петух. Где-то надо мной затрещала доска. Глаза мои были широко раскрыты, дыхание стало мучительным, я пристально следила за тенями в комнате и вдруг позвала:

— Мама, мама!

Ко мне пришли и мать, и отец. Другим, вышедшим из комнат, чтобы узнать, в чем дело, сказали, что я боюсь темноты.

Позвали Индюка и разрешили ему спать возле моей постели. Теперь уж мне нечего было бояться. Мать и отец снова ушли в свою комнату. Некоторое время спустя, они вышли ко мне, чтобы посмотреть, все ли я еще боюсь. Мать наклонилась надо мной и услышала мое ровное дыхание.

— Она уже спит,—сказала мать.

— Дорогая детка. Слишком много было волнений за день,—проментал отец.

Мать села рядом с моей постелью, отец стоял возле нее. Он добавил:

— Я думаю, что Джордж напугал ее. Я уж и не рад, что он приехал.

— Бедная Стефания,—вздыхнула мать.

— Грязный негодяй! Его нужно было бы утопить, как крысу.

— Я думаю, что Стефания подозревает,—сказала мать. Что она станет делать? Зачем она держит ее? Нет, конечно, сомнения, что эта женщина с ребенком. Я сразу заметила это, когда хорошенько посмотрела на нее. Всегда можно узнать по глазам и по чертам лица женщины.

— Мне кажется, что Стефания боится его.

— Дело не в страхе, дорогой мой. Она обожает самый воздух, которым он дышит, его пренебрежение — для нее пытка. Она не может вынести мысли о том, чтобы наказать его... или эту глупую женщину... или остаться жить без него. Я поняла это из ее слов.

Отец сказал:

— Пш... дорогая!

— Да, мы можем ее разбудить.

Мать наклонилась и легко коснулась губами моих волос.

— Какое счастье, что ты не такой, как Джордж. Я потеряла своих детей, но награждена зато другим. Бедная Стефания, бедная голубка!

Они минуту постояли молча, потом ушли.

На следующее утро мы не могли выйти гулять, потому что лил дождь. Мы все собрались в одной комнате. Малютка пытался плясать и смешил детей. Стефания была бледнее обыкновенного. Она смотрела в окно. Джордж читал, мать шила, отец держал на коленях одного из мальчиков и учил его различать время. Марианна не спускала глаз с малютки, гувернантка рассматривала альбом.

Малютка, усталый от игр, вскарабкался на колени к Марианне. Она прижала его к себе. Мой взгляд упал на Марианну, и я стала внимательно наблюдать за ней. В комнате случайно было совсем тихо, когда я сказала:

— Марианна, это вы женщина, которая с ребенком?

Никто не произнес ни слова. Все смотрели на меня, а я не понимала почему и с некоторым смущением поглядывала то на одного, то на другого, потому что все лица вдруг изменились. Стефания быстро обернулась и посмотрела на мою мать широко открытыми глазами. Она стала очень, очень бледной. Мать продолжала шить или притворяться, что шьет, но я видела, что руки ее делают ненужные, беспомощные движения, и яркая краска залила ее щеки. Отец смотрел в огонь камина, так что я не могла видеть его лица, а Джордж продолжал пристально смотреть в книгу, окинув меня и остальных присутствующих быстрым взглядом.

Мисс Генри тоже продолжала смотреть на картинки, но руки ее дрожали так сильно, что она тяжело оперлась ими на альбом, лежавший у нее на коленях. Она часто дышала, и я видела, как опускалась и поднималась ее грудь, как будто бы она только что очень скоро бежала.

Я не знала, что мне с собой делать, когда Марианна обвела всех взглядом и потом ласково сказала мне:

— Да, дорогая моя. я всегда с этим ребенком; он такой милый, маленький ангелочек.

Мать послала ей благодарный взгляд.

Через некоторое время все более или менее пришли в себя, но молчание продолжалось, пока отец не сказал:

— Ну-ка, девчурочка, посмотрим, что ты запомнила про часы. Неужели ты дашь этому молодому человеку опередить себя?

— Нет, не дам, папа, он, ведь, еще совсем малютка.

— Кто это малютка! Ты сама малютка. Мой братец малютка и ты тоже малютка, да еще девочка. Я лучше твоего умею сказать время. Сейчас десять с половиной часов.

— Ну, ну, молодой человек, подожди минутку, сказал отец. — Она всего только маленькая девочка. Ты не должен так на нее сержаться.

И он продолжал занимать нас своими часами, а Стефания медленно прошла в свою комнату, из которой вернулась несколько минут спустя в непромокаемом пальто. Она прошла мимо матери и дотронулась кончиками пальцев до ее руки.

— У меня немножко болит голова, Евгения. Прогулка на свежем воздухе поможет мне. Я скоро вернусь.

— Ах, Стефания, возьмите меня с собой, сказала я. — Мама, можно мне тоже пойти?

— Нет, дорогая, в другой раз. Не гуляй долго. Стефания, хорошо? Может быть, ты хотела бы, чтобы я пошла с тобой?

— Нет, Джэн, я скоро вернусь. Я тебе очень благодарна.

Она вернулась два часа спустя, когда уже перестал идти дождь. Солнце прорвало тучи, ясное и сверкающее.

Стефания имела больной вид, но с улыбкой уверяла нас всех, что ее головная боль совершенно прошла.

В отсутствие Стефании мы, оставшиеся, бродили по дому угнетенные дождем и настроением старших.

Отец отправился помогать нашему хозяину чинить что-то в одном из строений позади дома. Мать пошла помочь с обедом. Марианна унесла в свою комнату дремлющего малютку, а мальчикам позволили снять сапожки и поплескаться в лужах в саду. Я навизывала бусы, поларок Стефании, которые оборвала в это утро у камина. В комнате всего на несколько минут очутились вместе Джордж, мисс Генри и я. Он стал шагать по комнате, то приближаясь ко мне, то к мисс Генри, поглядывая из дверей на своих мальчиков или в одно из окон во двор. Он был взволнован. Он остановился на минутку возле мисс Генри.

— Нам придется очень скоро подумать кое о чем, — услышала я его слова.

— Что мне делать? Скажите, что мне делать? — простила она.

— Ради бога, не хнычьте, — нетерпеливо сказал Джордж, когда она вскрикнула.

— Она подозревает меня. Все меня теперь подозревают... что мне делать?

— Да прежде всего вам следовало бы... он не кончил, взглянул на меня пронзительным взглядом и прибавил: — я поговорю с вами наедине сегодня после обеда и скажу вам окончательный план.

Он снова зашагал взад и вперед по комнате.

Я спокойно навизывала свои бусы, — действительно спокойно, потому что его раз-

говор был для меня пустыми словами. Они вошли в мой мозг, чтобы вырасти в полное значение только годы спустя.

Когда Стефания вернулась, мы пообедали, потом развлекались множеством наших собственных способов. Стефания пошла к своим мальчикам и попробовала поиграть с ними и занять их, но это мало заинтересовало мальчуганов, и они скоро перестали обращать на нее внимание и бросили ее, отбежав на другую сторону комнаты. Там они болтали между собой, смеялись и ссорились.

Тогда Стефания положила ко мне.

— Пойдем, отыщем маму и узнаем от нее, какие у нее планы. Сейчас такая великолепная погода.

Мать была в своей комнате. Она плакала. Стефания подбежала к ней и нежно обняла ее.

— Что случилось, Джэн, что случилось?

Но и она тоже стала плакать. Некоторое время они молчали.

— Стефания, — спокойно заговорила мать, — есть что-нибудь... чтобы ты хотела, чтобы я сделала или сказала?

— Нет, дорогая Джэн, пожалуйста, не беспокойся обо мне. Ты теперь догадалась обо всем и это для меня большая помощь. Я уже придумала нечто... и это будет очень хорошо. Я уверена, что всегда можно найти выход. Так не беспокойся, сердце мое. Какая радость иметь такого друга, как ты!

Она поцеловала щеку матери, глаза и даже ее руку. Она прижала ее к себе, как мать прижимала бы к себе дочь. Они застыли и совершенно успокоились.

— Что ты будешь делать сегодня, Джэн?

— Я обещаю нашей хозяйке помочь ей шить платье.

— Отлично, а чтобы ты хотела сделать, дорогая? — спросила меня Стефания.

— Да я бы хотела погулять с вами.

— Но, милочка моя, Стефания уже сделала сегодня утром длинную прогулку... ты не должна.

— Ах, нет, Джэн. Я как раз хотела бы еще пройтись. Но я оденусь для этого... и ты скажешь мне, что надеть, — сказала она, бера меня за руку.

Я раздумывала недолго. Не было ничего прекраснее белого платья и большой голубой шляпы. Пока Стефания приглаживала волосы и меняла платье, я бродила по комнате в ее шляпе, похожая, по словам Стефании, на грибок. Она была уже почти готова, осталось только заколоть воротник сафировой булавкой и взять белый зонтик и кружевной платочек. Я смотрела на нее в восхищении.

— Стефания, вы такая, такая красивая... красивее всех во всем, во всем мире.

Она прижала меня к себе со слезами на глазах.

— Дорогая моя, дорогая моя! — произнесла она только. Потом она сняла булавку, приколотая ее мне и сказала:

— Сохрани это на память обо мне, девчурочка, и будь всегда очень счастлива... и такая, как твоя мать.

Она вытерла глаза, мы взяли мою шляпу и куклу, и прошли в сад.

Вся земля ликовала. Даже трава гордо тянулась кверху, отдавая сверкающему солнцу оставшиеся на ней капли дождя. Везде пели птицы. Индюк задал на мальчиков, которые все еще играли босиком в саду. Мы остановились, и Стефания переселовала их.

— Куда ты, мама? Можно с тобой? Я тоже хочу идти, — кричали они.

Но Стефания только улыбалась и качала головой. Она держала за руку одного из мальчиков, когда он вырвался, крикнув: «Ой, ты делаешь мне больно!» — и снова побежал играть. Стефания постояла несколько минут, грустно глядя на них, потом взяла меня за руку и повела на нашу гору.

Наверху горы Стефания остановилась, долго смотрела на дом, потом на тропинку, ведущую в запретный лес.

— Послушай, дорогая. Сядь на этот камень и подожди меня. Я только прогуляюсь до этого леса и обратно.

— Ай, Стефания, вы не должны туда идти.

— Знаешь, я, ведь, уже большая, — она улыбнулась мне. — Пожалуйста, будь хорошей маленькой девочкой и сиди здесь терпеливо, пока я не вернусь. Я буду очень осторожна, милочка, не беспокойся. Поиграй со своей куклой, а если устанешь ждать, так беги назад к дому и поиграй с мальчиками. Я найду тебя там.

— Но разве вы не возьмете меня с собой, Стефания? — попросилась я.

— В другой раз, дорогая. Мне хочется посмотреть оттуда на дом и на всю эту местность. А ведь ты обещала не ходить по этой тропинке, помнишь? Поэтому ты и не должна идти. Прощай, дорогая.

Она поцеловала меня и медленно удалилась, два раза оглянувшись на дом и на меня.

Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась за деревьями. Рядом со мной была ирравинная куча, надолго занявшая меня. Потом моя кукла стала себя плохо вести, и ее надо было наказать и строго выбра-

нить. Индюк нашел меня, и мы побежали с ним к дереву, а потом обратно к камню. Я устала, села и вспомнила про Стефанию. Я встала и посмотрела по направлению, куда она ушла. На тропинке не было никаких следов Стефании.

Мальчики увидели меня и прибежали на гору.

— Что ты здесь делаешь? Где мама?

Я сказала им, что она пошла гулять по этой тропинке.

— Зачем она туда пошла? — спросил старший мальчик. Мой ответ удовлетворил его, и мы поиграли вместе некоторое время. Солнце скрылось и наступили сумерки.

Мы услышали колокол, созывавший к ужину. Мальчики побежали под гору к дому. Я отказалась идти с ними и заявила, что подожду, пока вернется Стефания.

Я слышала отдаленные крики петухов, — ничего больше, потому что все ушли в дом, и земля отдыхала под конец дня.

Но несколько минут спустя я увидела, что все вышли и побежали ко мне.

Начались вопросы, все обменивались испуганными взглядами. Волнение росло с каждой минутой. Меня увели в дом и пока дети ужинали, старшие бегали кругом, бледные и дрожащие.

Потом мужчины ушли искать Стефанию. Они думали, что с ней случилось что-нибудь ужасное, раз она не вернулась. Женщины снова и снова задавали мне одни и те же вопросы: что именно она делала, что именно она тебе сказала, как именно она ушла? Я начала плакать, потому что видела, что мать плачет, и еще потому, что была испугана.

Мать уложила меня спать. Она склонилась над моей постелькой и просила меня постараться заснуть.

Я проснулась на следующий день до восхода солнца. Все были на ногах. Мужчины вернулись, но ничего не нашли. Они бросились навстречу леснику, как раз входившему в комнату.

Голова его была опущена, он смотрел вниз, когда передавал Джорджу голубую шляпу Стефании.

Моей матери сделалось дурно.

ОТ ФАНТАЗИИ

ОТКРОВЕНИЯ НАУКИ И ЧУДЕСА ТЕХНИКИ

А З И А Т И Д А

Очерк проф. Океанографического Института А. Берже

Тысячелетние тайны глубин Тихого океана. — Не была ли Азиатида второй Атлантидой? — Не примыкала ли Азия к Америке? — Доисторические скульптуры и могильные памятники. — Гипотеза древнего материка и поглощенной морем цивилизации.

Член французской Академии Наук, профессор Л. де-Лонай пишет:

«Каждый образованный человек внимательно прислушивается, когда ему говорят, что поглощенная морем Атлантида Платона, быть может, не выдумка и не фантазия, и что другие Атлантиды, еще более обширные, покоятся в глубинах Тихого океана».

Очевидно, по мнению этого выдающегося геолога, катастрофа, затопившая Атлантиду, могла быть не единственным катаклизмом, но, если можно так выразиться, была вышешиванием нескольких изданий и не ограничилась материком, описанным в таких подробностях Платоном в его двух философских диалогах «Тимей» и «Критий»¹⁾.

Но изыскания последнего времени бросают некоторый свет на эту, такую темную, страницу истории мира и человека. Два антрополога, Колани и Мансю, изучившие черепа индонезийцев, пришли к заключению, что было переселение народов с юга Индокитая к острову Тимор и к соседней группе Зондских островов. Эти

острова лежат приблизительно на пути между Австралией и Новой Гвинеей.

Расположение полукругим группой Зондских островов, ограниченных с юга морями, глубиной более, чем в 6.000 метров, этой вулканической гирлянды Индийского архипелага, этой непостоянной области, которая в незапамятные времена составляла продолжение юго-восточной Азии; эта

Азиатида, возможная колыбель первобытных австралийцев и меланезийцев, всегда под угрозой исчезновения на дне океана под двойным влиянием — вулканической деятельности и размывающих берега волн; расположенные цепью большие острова, параллельные поясу огня Тихого океана,



не заставляет ли все это вспомнить Атлантиду? И невольно чувствуешь какое-то головокружение перед величием этих загадок, которые направляют мысль к не вполне еще раскрытым тайнам мироздания.

ОДИНОКИЙ СКАЛИСТЫЙ ОСТРОВ

В восточной части Тихого океана есть, без сомнения, острова, оторвавшиеся от Азиатского материка.

По другую сторону громадного океана есть так же один остров, который мог

¹⁾ Смотри об Атлантиде статью проф. Г. Генкеля и научную фантазию Р. Девиня в № 6 «Мира Приключений» за 1925 г.

когда-то быть частью Американского материка. Это остров Пасхи, на который теперь обращено такое внимание ученого мира. Вулканический скалистый остров, совершенно одиноко лежащий посреди Тихого океана, немного ниже тропика Козерога. Долгота его $111^{\circ}46'$ к востоку от Гринвича, широта $27^{\circ}09'$ к югу. Он расположен в 2.000 морских миль ¹⁾ от южно-американ-



ского берега и 1400 милях от Гамбирских островов. Поверхность его равна, приблизительно, 125 кв. километрам. Он имеет форму равнобедренного треугольника, основание которого равно $22\frac{1}{2}$ километрам, высота же немного больше 11 километров.

Остров покрыт вулканами, самый большой из которых, Рано-Арой, имеет в высоту 510 метров. В восточной части острова находится вулкан Рано-Рорака, на западе — Рано-Кау, высотой в 408 метров.

Деревьев на острове почти нет, зато травы растут в изобилии. В скалах множество пещер. Населения около 200 человек, из которых некоторые, белокожие колонизаторы и метисы, живут на острове с 1888 г. Остров принадлежит республике Чили и каждый год остров посещает чилийское военное судно, привозящее сюда необходимые предметы обихода и разные запасы. Туземцы называют этот затерянный скалистый остров «Те Рито те Нуепа» то есть в переводе — «Пун Земли».

Название «Острова Пасхи» было дано острову, так как он был открыт голландским мореплавателем Роггевееном в 1722 г. в день Пасхи. На острове побывал и знаменитый Кук, Ла-Перуз, в 1816 г. и наш русский Кодебу и, наконец, в 1888 г. Чили официально овладевает островом.

НЕЖДАННОЕ ИСКУССТВО

Но вот, что является удивительной и таинственной чертой острова Пасхи, затерянного в глубине вод.

Он весь покрыт памятниками, доисторическими жилищами, доколами, могильными насыпями, статуями, представляющими человеческие фигуры.

Эти статуи имеют в высоту от 1 до 21 метра. Вес их достигает до 60 тонн. Этих огромных изображений насчитывают до 525 экземпляров. Цоколей — числом до 113, а надгробных насыпей нашли 150. Таким

образом мавзолеев всего 263, так как цоколи, на которых стоят статуи, являются сами по себе могильными памятниками. Многие из статуй покрыты такой же монолитной «шанкой».

Первоначальный материал для статуй доставлял вулкан Рано-Рорака. Кратер его настоящая скульптурная мастерская. Есть статуи, высеченные в самой лаве и не отделенные от вулкана. Другие же статуи уже закончены и окружены ямами, пробитыми в скале. Эти ямы были очень близко одна от другой. Рабочие сбрасывали в них камни, и статуя оказывалась отделенной от скалистого массива.

Другие статуи лежали на настоящих дорогах из плит лавы, предназначенных для того, чтобы транспортировать их в ту часть острова, где они должны были красоваться.

Шанки, накрывающие статуи, высечены из менее плотного камня, добытого из вулкана Таутапу, находящегося в 12 километрах к западу от первого. Орудия, которыми высекали эти памятники, сделаны из камня окрестностей вулкана Орито в 4 километрах к югу.

Только в 1870 г. была организована первая экспедиция действительно научного характера. На остров пришел чилийский крейсер, командир которого был приведен в восторг величием памятников исчезнувшей культуры, которые он сравнивает с прекраснейшими памятниками времен Кадиков и Инков.

В 1872 г. «Флора», французское военное судно, бросает якорь перед островом и адмирал де-Лепелан увозит голову статуи, находящуюся теперь в минералогическом музее в Париже. В 1877 г. приходит новое французское судно, на котором плыл известный писатель Пьер Лоти. Но напрасно старались ученые проникнуть в тайну острова: им это не удавалось. Они всего только говорят о малом росте туземцев, достигавшем в среднем 1 метра 53 сант. В 1886 г. научная северо-американская экспедиция увозит в Нью-Йорк статую. В 1914 г. на остров приезжают два антрополога, американцы, супруги Роут-Редж. Они живут здесь два года, но также не могут проникнуть в загадку.

¹⁾ Морская миля = 1852 метрам.

Наконец в 1923 г. профессор Броун из Новой Зеландии проводит на острове пять месяцев. Но и он ничего не прочел в прошлом «Пуна Земли», зато, по крайней мере, выставляет интересную гипотезу, о которой мы здесь и упомянем.

«ПУП ЗЕМЛИ»

Прежде всего нельзя допустить, чтобы на острове, который может прокормить не больше 500 человек, возникла цивилизация, создавшая столько гигантских памятников искусства.

Это небольшое число жителей не могло бы отделять от скал, высекать и воздвигать статуи, многие из которых весят 60 тонн.

Кроме того, обитатели острова Пасхи малого роста и не имеют мускулатуры, сила которой соответствовала бы таким гигантским сооружениям.

Чтобы высечь эти гигантские статуи, нужны были бы такие же толпы рабочих, подчиняющихся железной дисциплине, что трудились при постройке пирамид в Египте времен фараонов.

На острове должны были обитать миллионы рабочих, а сам остров должен был быть некрополем властителей, жрецов и великих людей обширной области.

Отсюда ясно, что остров Пасхи или приылкал к материке, или связывался с ним цепью островов. Да и само туземное название «Пуп Земли» указывает на центральное положение острова. И, вероятно, это-то центральное положение острова и послужило к устройству на нем пышного некрополя.

Принимая во внимание совершенную оторванность острова от всего мира, становится понятно, что жизнь на нем должна была прерваться неожиданным катаклизмом, схожим с тем, что поглотил Атлантиду, и что катастрофа эта погрузила в океан все острова, центром которых был

остров Пасхи. Тогда работы прекратились, и лишённые всего жители дошли до каннибализма. Одни сохранившиеся памятники уделели, как след исчезнувшей цивилизации, стоявшей, очевидно, на большой высоте.

Таинственным остается и то, как перевозились эти гигантские статуи по скалистой местности, как их поднимали на высокие пьедесталы, служившие надгробными памятниками. Их, вероятно, передвигали с помощью огромных рычагов. Но откуда эти рычаги, эти большие бревна, остатки которых теперь находят на острове, где совсем нет деревьев? Две единственные породы деревьев, растущих на острове, не бывают выше 5 метров, а в диаметре они от 16—18 сантиметров!

Вот еще новое доказательство, что вокруг острова Пасхи должен был быть или материк или цепь островов, покрытых лесами с большими деревьями.

Еще иное доказательство подтверждает эту гипотезу. Чтобы перетаскивать огромные статуи, нужны были не только рычаги, но и канаты, которые позво-

ляли бы толпам рабочих вырваться и тянуть тяжелый камень. Но на острове растет только одно волокнистое растение. Это—дерево метра в 2½ высотой и которое может жить только в местах, защищенных от морского ветра стеной такой же высоты, как и само дерево.

Все говорит за то, что остров Пасхи—последнее воспоминание в Тихом океане о земле, затонувшей в море.

Это заставляет нас подумать о ненадежности земли, которую мы с таким спокойствием и доверием попираем ногами.

«Тверда, как скала»—поговорка, которая имеется у всех народов. Но история Земли должна была бы научить говорить: «Не надежна, как скала».

Проф. А. Берже.

Корабль пустыни

Стремление подчинить себе бескрайние пустыни Сахары и создать надежное, верное и дешевое средство сообщения по сыпучим пескам давно уже толкало мыслителей изобретателей и конструкторов, пытавшихся вытеснить «корабль пустыни»—верблюда—стальным механизмом.

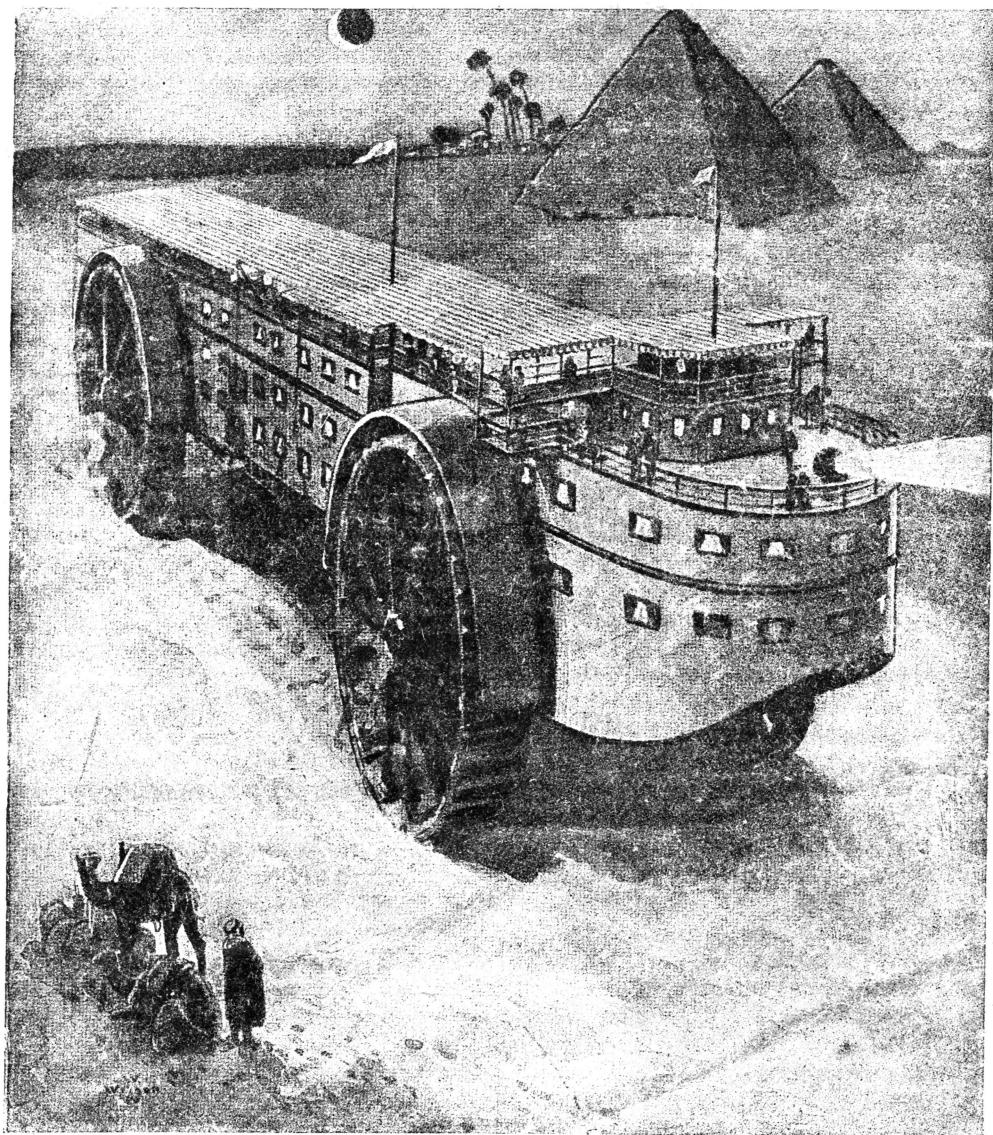
Еще Жюль Верн мечтал о такой машине в своем известном романе «Паровой

дом», где описывается искусственный механический слон, движимый силой пара. Но эти мечты остались мечтами, и только после появления автомобиля начинаются первые серьезные попытки преодолеть пространство Сахары. Но успех здесь пришел далеко не сразу. Колеса вязли и вертелись в глубоком песке, и только очень широкий обод, снабженный особыми зарубками, позволял

автомобилям трогаться с места. Еще лучшие результаты дали так наз. автомобили с гусеничным ходом, где вместо колес движется непрерывная резиновая лента (на гусеничном ходу жежду прочим движутся танки).

Такой автомобиль системы Кегресса с успехом пересек несколько лет тому назад

предлагающего построить для передвижения по песчаным пустыням целый сухопутный корабль на огромных широких колесах. Корпус этого корабля будет длиной около 100 метров, а шириной около 12 м. Внутри железного корпуса поставлены мощные двигатели внутреннего сгорания и в нескольких этажах имеются помещения



всю западную Сахару, свободно проходя там, где безнадежно бы увяз обычный автомобиль.

На автомобилях этого рода французским правительством уже оборудовано несколько линий для пассажирского сообщения.

Автомобили эти могут брать до 12 пассажиров с необходимым количеством воды, топлива и провианта на несколько дней.

Еще интереснее изображенный на этом рисунке проект одного немецкого инженера,

для 200 пассажиров, отделение для багажа, палубы для прогулок, ванные, уборные, кухни, буфет и даже площадки для тенниса. Скорость этого интересного сооружения рассчитана по твердому грунту в 40 кил в час, а по глубокому песку — в 20 километров. Нечего говорить о том, что на корабле пустыни не забыто и радио, так что его пассажиры могут во все время своего путешествия общаться с окружающим миром.